

Дискуссии и обсуждения

РОССИЯ В ИСТОРИИ: ОТ ИЗМЕРЕНИЯ К ПОНИМАНИЮ

Новая книга Б.Н. Миронова в откликах и размышлениях его коллег

Появление больших концептуальных работ, содержащих нетрадиционную трактовку актуальных проблем отечественной истории, выполненных на основе использования оригинальных методик и привлечения новых категорий источников, служит хорошим стимулом для развертывания научных дискуссий. В связи с выходом монографии Б.Н. Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало XX века» (М.: Новый хронограф, 2010. 911 с.: ил., табл.) редакция, следуя сложившейся в журнале традиции, обратилась к широкому кругу отечественных и зарубежных специалистов с просьбой принять участие в обсуждении как поставленных в этом обширном исследовании проблем, так и предложенных им решений. На инициативу редакции откликнулись *В.П. Булдаков*, *В.Б. Жиромская*, *Н.А. Иванова*, *И.В. Поткина* (Институт российской истории РАН), *М.А. Давыдов* (Российский государственный гуманитарный университет), *Л.В. Волков* (ВНИИДАД), *М.Д. Карпачев* (Воронежский государственный университет), *О.Н. Катионов* (Новосибирский государственный педагогический университет), *Яни Коцонис* (*Yanni Kotsonis*, Нью-Йоркский университет, США), *С.В. Куликов* (Санкт-Петербургский институт истории РАН), *А.А. Куренных*, (Государственный исторический музей, Москва), *Т.Г. Леонтьева* (Тверской государственный университет), *И.В. Михайлов* (Университет: МГИМО), *И.В. Побережников* (Институт истории и археологии УрО РАН), *Грегори Л. Фриз* (*Gregory L. Freese*, Брандайский университет, США), *П.П. Щербинин* (Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина).

Ниже публикуются полученные редакцией отклики, систематизированные с учетом основных направлений развернувшейся дискуссии.

Общий характер исследования

И.В. Поткина: На стыке различных времен, сюжетов и научных подходов

Работы Б.Н. Миронова всегда привлекали к себе повышенный интерес историков, экономистов и социологов, разделяя их на равнодушных сторонников и не менее ревностных оппонентов. Споры вокруг конкретной работы, в конечном счете, заканчиваются острыми дискуссиями по широкому спектру проблем российской истории XIX–XX вв. Не стала исключением и книга «Благосостояние населения и революции в имперской России», само название которой провоцирует специалистов на полярные по своему содержанию высказывания. Уже на стадии обсуждения монографии в Центре истории России XIX в. Института российской истории РАН, в котором принимали участие не только сотрудники института, но и ведущие специалисты из МГУ и РУДН, обозначились диаметрально противоположные точки зрения: от критического отрицания до аргументированного одобрения. Дискуссия оказалась и полезной, и интересной для каждого присутствовавшего, никого не оставив безразличным к происходившему. В этом, на мой взгляд, кроется важный для науки в целом позитивный момент, на чем хотелось бы заострить главную мысль данного очерка.

Я сознательно фокусирую свое внимание на положительных сторонах монографии «Благосостояние населения и революции в имперской России», полагая, что на

недостатках, противоречиях или просчетах подробно остановятся всеми уважаемые и авторитетные научные оппоненты. Книга Миронова имеет много достоинств, характерных для фундаментальных исследований концептуального уровня, а они не так часто, как хотелось бы, появляются в последнее время. Мы сейчас переживаем период всплеска именно конкретно-исторических работ, связанных с освоением и осмыслением нового массива архивных документов, без которых движения науки вперед, как и появления обобщающих трудов, также не может быть. Одним из самых привлекательных достоинств книги Миронова является умение автора сочетать на первый взгляд слабосвязные между собою и отдаленные друг от друга исторические явления, проблемы и видеть их в контексте общей эволюции страны, а также умение не поддаваться давлению общепринятых стереотипов, оценок и подходов.

В основу своего исследования Миронов положил массовый источник, до сего времени невостребованный историками ввиду его кажущейся незначительности. Речь идет о материалах губернских присутствий по рекрутским делам и воинской повинности, из которых в итоге автор извлек сведения, преобразовав их в антропометрические показатели населения России за 1700–1917 гг. и переведя в машиночитаемую форму. В общей сложности это 306 тыс. индивидуальных и 10 млн суммарных данных. В итоге отечественная наука имеет в своем распоряжении солидную и полноценную базу данных, которая позволяет строить динамические ряды. Материал собирался в 11 архивохранилищах России федерального, регионального, муниципального и ведомственного уровней. Автор уделил много места характеристике своей базы данных, не обходя вниманием проблемы репрезентативности и качества добытых сведений (гл. IV). По мнению Миронова, полученные антропометрические данные в целом «являются достаточно надежными и могут служить основой для научного анализа» (с. 185). При этом после проверки значимости различных факторов оказалось, что для статистического анализа достаточно стандартизировать сведения по шести исходным значениям (переменным) для получения однородных и сопоставимых данных о росте человека в России в XVIII – начале XX в. (с. 233). Выбранные автором для построения длинных временных рядов показатели, таким образом, относятся к категории социальных параметров.

К тому же, в отечественной историографии впервые созданы динамические ряды, охватывающие 2 столетия. Само по себе это уже знаменательное событие, поскольку, как известно, отечественные специалисты в силу ряда причин мало занимаются построением длинных временных рядов, которые бы отражали важнейшие параметры социально-экономического развития Российской империи. Миронов же получил показатели, в опосредованной форме характеризующие общее состояние народного хозяйства страны.

Однако автор не ограничился одной разновидностью столь трудоемкого источника (его обработка заняла массу времени и сил). Казалось бы, такой массив документов освобождал его от использования других материалов. Но, став первым в нашей стране ученым, осуществившим масштабное антропометрическое и одновременно социально-экономическое исследование, Миронов, я думаю, сознательно дополнительно привлек широкий спектр исторических документов. К ним относятся земские статистические обследования, нормативные акты, периодика, включая аналитические обзоры по теме в дореволюционных изданиях медицинского профиля, а также источники личного происхождения и др. Это серьезно повысило фундаментальность монографии, а значит, и обоснованность авторской аргументации. Книга «Благосостояние населения и революции в имперской России», являясь, по сути, междисциплинарным исследованием, создана на стыке ряда наук: математической статистики, исторической антропологии, экономической истории, социологии. Именно это позволяет ее отнести к крупным достижениям российских историков последнего времени.

Сильное впечатление производит историографическая база исследования (хотя сам раздел страдает лаконичностью, но этот недостаток компенсируется обзорами

литературы в других главах монографии). Ее широта и разнообразие обусловлены необходимостью не только традиционной постановки проблемы, но и ознакомления научной общественности с целями и задачами исторической антропологии, которая вошла в исследовательскую практику за рубежом, а у нас пока нет. Значительная часть использованной англоязычной литературы принадлежит к данному направлению, причем это как труды теоретического плана, так и конкретно-исторические страноведческие работы. В силу того, что историческая антропология не получила в России развития, Миронов справедливо уделил повышенное внимание вопросам истории становления данного направления, а также теории и методологии. Вполне возможно это даст импульс такого рода исследованиям у нас, а российская историческая наука, в конечном счете, будет намного ближе к тому, чтобы стать органической и неотъемлемой частью общего мирового процесса. То, что указанные монографии и статьи впервые в таком количестве вводятся в научный оборот в нашей стране, само по себе является положительным фактом. Другая часть зарубежной литературы посвящена общим и частным проблемам социально-экономического развития России в имперский период, и представляет собой обширный спектр мнений, оценок и подходов. С ней достаточно хорошо знакомы отечественные историки, не раз обращавшиеся в своих исследованиях к тем или иным работам. Подбор трудов российских специалистов также отвечает требованиям полноты и разнохарактерности, что особенно необходимо для работ концептуального уровня. В целом сам факт использования литературы, относящейся к различным отраслям знания, в таком объеме является косвенным свидетельством междисциплинарности проведенного Мироновым исследования.

Г. Фриз: Кладезь сведений для специалистов

В последнее время среди историков, особенно на Западе, проявлялась тенденция к уменьшению интереса к социальной и экономической истории имперской России. Отчасти это было обусловлено так называемой архивной революцией 1991 г., которая открыла беспрецедентный (хотя и не беспрепятственный) допуск к архивным материалам и вызвала ширококомасштабный сдвиг интереса от имперской к советской истории. Кроме того, отход от социально-экономической истории был обусловлен «культурным поворотом», постмодернистским акцентом на культуре, что в значительной степени снизило прежнее значение экономики и «социальной действительности». Результатом явилось всеобщее пренебрежение к имперскому и более ранним периодам социальной и экономической истории России.

Фундаментальная монография Бориса Миронова «Благосостояние населения и революции в имперской России» представляет собой значительный вклад в науку и одновременно побуждает исследователей переосмыслить преобладающую парадигму российской истории нового времени. В чисто эмпирическом смысле автор совершил настоящий подвиг, создав огромную базу данных, беспрецедентную в исторической антропологии. Он собрал индивидуальные сведения о 305 949 лицах мужского и женского пола и обобщенные данные о более чем 10.3 млн новобранцев, призванных на службу с 1874 по 1913 г. Автор, кроме того, собрал и проанализировал огромное количество дополнительных статистических сведений – намного больше того, что обычно можно найти даже в лучших монографиях. Миронов представил ценную сравнительную перспективу, сопоставив положение России по многим показателям с другими великими державами (см., например, таблицу на с. 104).

Если специалисты не захотят принять обширный авторский нарратив о революции, они вне сомнения будут глубоко признательны Миронову за обширные сведения, которые были им столь тщательно собраны и проанализированы. Помимо данных о росте, автор приводит сведения о налоговом бремени (с. 248–250, 300, 330), индексе человеческого развития (с. 657), валовом внутреннем продукте (с. 663), урожаях (с. 245–280), поголовье скота (с. 286), посевных площадях (с. 291), экспорте и импорте

(с. 296), рационе питания (с. 436–446) и многих других аспектах экономической и социальной истории. Это чрезвычайно ценное исследование, настоящий клад сведений, которыми историки будут пользоваться в течение многих будущих десятилетий.

Я. Коцонис: Монография как энциклопедия

Монография Бориса Миронова уникальна, если судить по количеству собранного в ней воедино материала, включая первичные источники и исторические исследования более чем за 100 лет. Она является настоящей энциклопедией (хотя и критического характера) по благосостоянию и уровню жизни населения России в XVIII, XIX и начале XX в. Она может служить отправным пунктом всех будущих исследований и точкой отсчета для всех, кто проявляет хотя бы поверхностный интерес к вопросам материального благосостояния в России.

Н.А. Иванова: Разные компоненты исследования заслуживают разных оценок

Новая книга Б.Н. Миронова содержит 3 основных составляющих. Первая посвящена изучению исторической антропометрии применительно к имперской России. Изучение антропометрических данных позволило автору выявить ряд важных тенденций, касающихся изменения роста россиян. В частности, показать, что привилегированные сословия были выше ростом, чем крестьяне и мещане, горожане выше, чем сельские жители; грамотные выше неграмотных. Наблюдались различия в росте в зависимости от религиозной и этнической принадлежности, географического фактора. Выявлены отличия по росту населения в различных странах мира. При этом Россия оказывается примерно в середине ряда европейских и азиатских государств.

Собственно «антропометрическая» часть работы Миронова как первое комплексное исследование на эту тему по России достаточно хорошо фундированное, является существенным вкладом в науку. На мой взгляд, общая тенденция увеличения роста населения и не только в Российской империи, связана с прогрессивным развитием человеческого общества в целом. Включение биологической составляющей в процесс познания общества открывает новые возможности и перспективы исторических исследований.

Однако автор этим не ограничился. Он поставил перед собой более сложную задачу – показать связь между ростом и уровнем жизни россиян. Так появилась вторая составляющая его монографии. В имеющейся литературе причины увеличения роста людей объясняются по-разному. Биологи и медики обращают основное внимание на генетический фактор, изменение наследственности человека в результате смешения населения планеты, увеличения инолокальных браков, повышение уровня медицинского обслуживания, воздействие гигиенического фактора. Влияние социальных и материальных условий, уровня жизни, улучшения питания и т.п. учитывается в меньшей мере, признается нередко имеющим второстепенное значение. Стремясь восполнить существующий пробел, Миронов сосредоточил свое внимание именно на этой проблеме. Ее решение осложняется тем, что, как справедливо отметил автор, понятие «уровень жизни» (или «благосостояние») по-разному трактуется в литературе и для его определения используется несколько десятков показателей, начиная от материального положения и заканчивая духовными запросами и потребностями людей. Он также признает, что понятие «уровень жизни» носит исторический характер, основные составляющие и качественные параметры его изменяются во времени не только в реальной жизни, но и в сознании и потребностях людей. Тем не менее такие интегральные показатели, как продолжительность жизни, валовой внутренний продукт, уровень образования признаются современными учеными в качестве обобщающих критериев уровня жизни. Отмечая отсутствие массовых источников для изучения этих вопросов применительно к России на протяжении длительного хронологического периода времени, Миронов обращается к использованию, как он считает, «альтернативного показате-

ля» – конечного роста людей, который рассматривается им «в качестве заменяющегося интегрального индикатора уровня жизни» – «биологического статуса» (с. 21). Таким образом, задача показать влияние уровня жизни на изменение роста людей подменяется другой: оценить динамику уровня жизни россиян за 1701–1917 гг. с помощью антропометрических данных. Делается это с целью опровергнуть распространенное в литературе положение о постоянном ухудшении уровня жизни российского населения, его обеднении. При этом автор абсолютизирует значение антропометрических данных. По существу он исходит из априорного представления о существовании прямой зависимости между уровнем жизни и ростом людей (см. с. 56–57, 78–79). Вероятно, большие статистические ряды за длительный промежуток времени выявляют подобную закономерность. Но как быть с тем, что в реальной жизни отступление от подобной «правила» наблюдаются постоянно, что в одной семье обычно (или нередко) вырастают дети разного роста? Во всяком случае, утверждать, что математико-статистические методы позволяют «распутать сложный узел взаимодействия между генетикой и средой в регулировании роста» (с. 79), на мой взгляд, преждевременно.

Это подтверждает работа самого Миронова. Дело в том, что источники, прямо указывающие на зависимость физического развития людей от уровня жизни, отсутствуют. Поэтому автору пришлось использовать косвенные сведения, чтобы показать изменение благосостояния россиян. Миронов признает, что достоверную картину изменения благосостояния населения России антропометрические данные помогают получить лишь в сочетании с традиционными показателями (с. 54). Такими показателями в книге стали производство продуктов питания, питание крестьян и горожан, доходы, налоги и повинности крестьян, динамика цен и заработной платы и др. Каждый из этих вопросов имеет свои источники и неоднозначную оценку в историографии, поэтому их изучение является весьма трудоемким. Используя дедуктивный метод, автор пошел по пути подтверждения собственного понимания той или иной проблемы данными источников. Не удивительно, что в этой составляющей его монографии встречается немало субъективных бездоказательных авторских суждений, с которыми трудно согласиться. Так, например, Миронов утверждает, что заявления крестьян, публицистов, экономистов о непосильности выкупных платежей и необходимости снижения налогов «не соответствовали действительности», поскольку средний рост мужчин, рожденных в 1876–1880 гг. увеличился на 3 см по сравнению с ростом тех, кто родился в 1861–1865 гг., что могло произойти только благодаря повышению уровня жизни. «Тем не менее, – заключает автор, – крестьяне убедили (!) образованное общество и правительство, что их положение невыносимо, и добились понижения платежей» (с. 334).

Вызывает возражение и оценка положения петербургских рабочих как типичного для страны в целом, якобы вследствие существования всероссийского рынка в России с середины XVIII в. (с. 528, 626). Если тезис о положительной динамике уровня жизни можно принять как проявление прогрессивного развития в общемировом масштабе, то основы общей периодизации благосостояния народа (по росту мужчин и другим показателям), особенно в той части, которая касается повышения благосостояния, представляются малодоказанными.

Последняя глава монографии Миронова и одновременно ее третья составляющая не связана органически с предыдущим текстом. Она представляет собой рассуждения автора по вопросам русских революций и основывается главным образом на материалах предыдущей книги автора. Без этой главы вполне можно было бы обойтись.

С.В. Куликов: Книга о прошлом – книга для будущего

Заслуга Б.Н. Миронова заключается в том, что он первым, в области изучения социальной истории Российской империи, а теперь и благосостояния ее населения, возвращает отечественной исторической науке научность, поскольку своим творчеством сумел дать яркий пример освобождения исследовательского сознания от нелепых догм и безжизненных стереотипов, довлевших над умами ученых. Создается

впечатление, что перед нами происходит очищение «авгиевых конюшен», куда после 1917 г. были загнаны толпы российских историков. Конечно, бывали и исключения из правил, и исключения великие (вспомним, хотя бы, Б.А. Романова или А.А. Зими́на – не упоминаю ныне здравствующих исследователей, чтобы, невзначай забыв кого-либо, невольно, не нанести обиду), но большинство историков, если и старались нарушать правила, то не слишком заметно для партийного начальства. Грань между подлинной наукой и «светской Священной историей» с ее безнадежно устаревшей и идеологически выдохшейся марксистской парадигмой Миронов, в отличие от многих его коллег, так и не «выдавивших из себя раба» советской историографии, проводит последовательно и систематически, со свойственной ему виртуозностью исследуя буквально горы самых разных видов источников. Естественно, можно соглашаться или не соглашаться с выводами автора, но методология и методики его научного анализа бесспорны, в них нет политизированности и ангажированности, в чем нельзя не признать очевидное эпистемологическое значение как этой работы Миронова, так и его предыдущих монографий. Ее публикация – большое событие не только научной, но и чисто литературной жизни. В отличие от многих историков, полагающих, что предмет их исследования важен сам по себе, а потому не нуждается в привлечении к нему внимания со стороны широкой читательской аудитории при помощи приемов литературного мастерства, Миронов создал не только уникальное исследование, но и повествование, читаемое, несмотря на обилие статистического, «сухого» и «скучного» материала, с захватывающим интересом, едва ли не как культовый роман.

Т.Г. Леонтьева: Русскому человеку свойственно впечатляться «идеальными» образами

Судя по обложке новой книги Б.Н. Миронова, уровень благосостояния населения дореволюционной России символизирует дородная купчиха с сытой игривостью попивающая чай «на природе». Ее так много, что даже православные храмы (непременный символ благости), которые создают фон полотна, кажутся игрушечными. Эта идиллическая картина исключает даже намек на возможность социальных потрясений. Если так, то революции в России, конечно, от лукавого. Таков может быть «подтекст» картины, таков и нескрываемый пафос новой книги, что, несомненно, встретит понимание у современных, утомленных бытовыми неурядицами, российских обывателей.

Художника Б.М. Кустодиева, чья «Купчиха» так приглянулась автору, по ряду причин субъективного свойства притягивали буколические образы, хотя в 1920 г. он создал и иное гротескное полотно – «Большевик». Что же касается релаксирующих образов пышной русской телесности, то на обложку резоннее было бы поместить «Русскую Венеру» того же автора. Отбросим, однако, иронию и признаем: русскому человеку свойственно впечатляться «идеальными» образами, игнорируя реальность – особенно историческую.

И.В. Михайлов: «Не верю!»

Название новой книги Б.Н. Миронова вызывает недоумение: «благосостояние... и революции...». Явный оксюморон. Оформление изумляет. В прошлом, да и сейчас, на обложках книг, так или иначе связанных с революционной тематикой, помещали что-нибудь агрессивное и победоносное. Миронов использует иной, не менее вызывающий художественный образ, призванный символизировать противоестественность революции в России. Громадный массив статистического материала призван убедить в реальности этого образа. Однако почему-то не верится.

Российская модернизация: мера успешности. Социальная роль историка

И.В. Побережников: Между историцизмом и прогрессизмом

В работах прошлых лет Б.Н. Миронов уже четко сформулировал свое понимание истории России с конца XVII в. до 1917 г. Коротко его суть сводится к следующему. Автор полагает, что эталонная модель модернизации была предложена западной цивилизацией (Западной Европой и Северной Америкой). Россия, по мнению Миронова, вследствие «европейского происхождения» основ «российской государственности, быта и менталитета», качественного сходства западных и русских национальных традиций и ценностей, была включена в мировой модернизационный процесс и «в социальном, культурном, экономическом и политическом отношениях, в принципе, изменялась в тех же направлениях, что и другие европейские страны». В целом российский путь модернизации Миронов оценивает как вполне благополучный и эффективный. Это нормальный исторический маршрут, который, правда, отличается некоторым своеобразием, поскольку Россия с опозданием вступила в процесс модернизации, поскольку страна «живет в другом часовом поясе» по сравнению со странами Запада. Определенные же особенности модернизации страны Миронов видит в росте в российском обществе в течение XVIII–XIX вв. социальной и культурной фрагментации вследствие колонизации и асимметричной вестернизации (в то время как западноевропейские страны развивались в направлении нивелирования местных, региональных, сословных особенностей, интеграции и централизации политического, правового и культурного пространства в единое национальное пространство), в обычной асинхронности социальных изменений, происходивших в России и других европейских странах в XVIII – начале XX в., в вариативности глубины охвата России и других европейских стран различными социальными, экономическими, культурными и политическими процессами. Тем не менее модернизация в России, по мнению Миронова, шла путем успешного утверждения в стране институтов и ценностей европейской цивилизации; страна развивалась нормально и поступательно, она не являлась исключением из правил.

В свое время Миронову удалось, как мне кажется, убедительно пересмотреть многие устоявшиеся в историографии стереотипы, касающиеся, в частности, вопросов о роли и месте государства и бюрократии в организации исторического процесса, влиянии на последний национального менталитета, ценностных установок, значении мобилизации внутренних ресурсов семьи в обеспечении модернизации и т.д. Но, как признается автор, в предшествующий период ему не удалось уделить должного внимания одному из самых стойких стереотипов о непрерывном обеднении населения в имперской России. Нынешняя монография как раз и призвана в значительной степени решить, насколько данный стереотип соответствует действительности; благо, теперь автор может привлечь для оценки динамики благосостояния населения в имперский период новые антропометрические данные. Впрочем, доказательность обеспечивается комплексным использованием разнообразных источников (это все имеющиеся данные о питании, ценах, зарплате, смертности, аграрном производстве, налогах, повинностях, сбережениях) и подходов (в частности, подсчет интегрального показателя – индекса человеческого развития).

Проведенное исследование в общем подтвердило прежние выводы автора об успешном в целом развитии России на протяжении «имперской эпохи», о России как о нормальной европейской стране, прошлое которой полно как трагедиями, противоречиями и драмами, так и успехами и достижениями, которых не меньше, чем в истории других европейских стран. Используемые статистические материалы позволили построить «тренд», иллюстрирующий рост уровня благосостояния населения страны на протяжении XVIII – начала XX вв. Динамика показателя уровня жизни не была при этом линейной: в XVIII в. доминировала в целом понижительная тенденция, в

последующем – повышательная. Колебания и циклы «в поведении» показателя Миронов убедительно объясняет действием разнообразных факторов: экономических, социальных, военно-политических, природно-климатических и т.д. Данные автора подтверждают тягость бремени модернизации для населения (особенно в XVIII в.) и в то же время ее оправданность и историческую перспективность. В частности, оказывается, что рост показателя уровня благосостояния в XIX в. в значительной степени был подготовлен успехами предшествующей модернизации, позволившей приобрести новые и закрепить за собой приобретенные ранее огромные природные ресурсы, что обеспечило перемещение в рамках Европейской России хозяйственной деятельности с севера на юг, что, в свою очередь, чрезвычайно способствовало укреплению экономического потенциала страны. В связи с этим снижение потребления в XVIII в., за счет чего были обеспечены ресурсы на колонизацию и укрепление обороноспособности страны, Миронов метафорически квалифицирует как «инвестиции в благосостояние населения XIX–XX вв.». Информация о положительной динамике показателей уровня жизни по второй половине XIX – начала XX в. коррелирует с современными трактовками экономической модернизации страны в соответствующий период, признающими ее успешной и включающей начало «современного экономического роста» в России с 1880-х гг. При этом, когда появляется возможность, автор демонстрирует особенности поведения показателя уровня благосостояния применительно к отдельным территориям (как считает автор, в целом для изменений показателя в стране и регионах была характерна синхронность).

Определяя свое видение российской истории, Миронов неизбежно сталкивается с противоречием, которое мыслители пытались решать с XVIII в., со времен Дж. Вико и И.Г. Гердера. Это противоречие между наблюдаемым в истории ростом сложности, организованности, интеграции, адаптивности человеческих сообществ и уникальностью и неповторимостью исторических культур и эпох (иначе выражаясь, это проблема соотношения между внутренними и внешними критериями оценки исторических периодов, между историцизмом, признающим исторические явления и эпохи уникальными и специфичными, и прогрессизмом, в основе которого лежит идея более глубокого смысла истории, движущейся к специфической цели).

В рамках модернизационного подхода указанная проблема решается по-разному, в зависимости от того, как трактуется сам процесс модернизации, т.е. процесс перехода от традиционного общества к современному. Согласно хронологически первой версии модернизационного подхода (ее можно определить как эволюционистскую), получившей распространение в классических трудах представителей модернизационной парадигмы, акцент делается на эволюционный и прогрессивный характер модернизации, что предполагает всеобщее стадияльное движение от примитивных к более сложным, совершенным формам социального бытия в соответствии с универсальными закономерностями преимущественно эндогенного характера. В рамках подобного подхода история страны трактуется как реализация общих закономерностей перехода от традиционного общества к индустриальному. Такой подход создает предпосылки для сравнения различных вариантов перехода от традиционности к современности, выявления общего и особенного в протекании данных процессов. Но модель странового развития в рамках данного подхода оценивается главным образом с точки зрения соответствия некоторому эталону, который обыкновенно воплощается в схеме модернизации стран атлантической цивилизации (Западной Европы и Северной Америки). Диапазон оценок в таком случае располагается между нормальной, либерально-рыночной, модернизацией и различными неудачными отклонениями от эталонного варианта, представляющими тупиковые и имитационные ветви псевдомодернизации. Подход, выдержанный Мироновым, – это признание нормальности российской модели модернизации, ее соответствия «эталону». Надо признать, что авторская интерпретация выглядит более убедительно, нежели различные версии российской псевдомодернизации. Однако в рамках такого подхода проблема соотношения между историцизмом и прогрессом решается чересчур односторонне, в пользу последнего.

Сторонники другого подхода принципиально стоят на позициях исторического плюрализма, несводимости пространственного многообразия к какому-либо магистральному направлению, настаивая на многовекторности и своеобразии модернизаций, протекавших в различных культурно-цивилизационных контекстах и опиравшихся, соответственно, на различные социокультурные традиции (данный подход можно определить как плюралистический). Действительно, исторические и современные успехи целого ряда стран незападной цивилизации (Япония, Китай, Южная Корея, Сингапур и т.д.) свидетельствуют в пользу такого более широкого понимания модернизационного подхода, который должен быть чувствительным к историческому опыту не только стран Западной Европы и Северной Америки, но и других частей света. Включение цивилизационно-культурного измерения позволяет выходить за рамки эволюционистской теоретической конструкции и рассматривать модернизационные модели как результаты воздействия матричных цивилизационных структур на ход и характер развития. Однако в рамках подобного подхода теряются «единство истории», присущие ей эстафетность, преемственность, когерентность.

Следующая возможная трактовка модернизации, которая представляется мне оптимальной, совмещает внутренние ритмы развития и трансформации под воздействием других стран и цивилизаций. В рамках такого подхода имеет место постоянное включение внешних импульсов в обеспечение исторической динамики, а также наличие целого перечня трансформаций глобального масштаба, оказавших воздействие буквально на все регионы. То обстоятельство, что в рамках данной теоретической конструкции модернизация совершается в процессе взаимодействий (своеобразных сплетений, фигураций) между культурно-историческими массивами, сопровождающихся диффузией идей, технологий, организационных моделей, такую трактовку, по отдаленной аналогии с фигурационной социологией Н. Элиаса, можно назвать фигурационной. В рамках данного подхода взаимодействие между мировыми регионами (не самостоятельными и не изолированными друг от друга) создает зону универсальной истории, где действует историческая преемственность, эстафетность, обеспечивая единство истории.

О.Н. Катионов: Кредо автора – исторический оптимизм

Что подвело Б.Н. Миронова к написанию данного труда? Автор обосновывает это во введении – желание показать на основе антропометрических данных, являющихся костяком источниковой базы исследования, успешность развития имперской России, сопоставимого с развитием стран Европы. Автором привлечены также все имеющиеся данные о питании, ценах, зарплате, смертности, сельскохозяйственном производстве, налогах, повинностях, сбережениях и другие показатели благосостояния (с. 16–17). И фактически читателя подводят к выводу, который самим исследователем уже сделан в книге «Социальная история России периода империи»: «Россия нормальная европейская страна, в истории которой трагедий, драм, противоречий – несколько не больше, а достижений и успехов – несколько не меньше, чем в истории любого другого европейского государства» (с. 17). Таким образом, кредо автора определено: исторический оптимизм в отношении прошлого и настоящего России. Но теперь он на другом комплексе источников пытается обосновать то же, делая при этом и новые выводы, – о поступательности экономического развития, о росте уровня благосостояния и об искусственности революции, которая не вызрела в самой стране, а была в нее привнесена своими либерально-революционными кругами, нарушив поступательность и естественность развития общества и государства. Вопрос дискуссионный и в свете приближающегося столетия революций 1917 г. необъятный, так как у других историков имеются свои аргументы на закономерность, поступательность или прерывность исторических процессов. Но то, что Миронов выработал концепцию исторического оптимизма в отношении истории нашей Родины и постоянно пытается ее аргументировать, заслуживает высокой оценки.

П.П. Щербинин: Историк не должен быть терзаем «внутренней цензурой»

В разделе монографии «От автора» Б.Н. Миронов пишет о необходимости преодоления негативного образа России и стереотипов, важности формирования позитивного образа российской государственности (с. 13–17) Данный посыл, на мой взгляд, не должен являться определяющим, так как тогда любая иная трактовка истории может быть объявлена «непатриотической», «вредящей имиджу России», «наносящей урон национальным интересам» и проч. Историк не должен быть терзаем постоянной «внутренней цензурой»: «Не сказал ли я чего лишнего, что может негативно осветить российскую историю, благосостояние ее жителей или имперскую идеологию». К тому же, изначальная мотивировка исследователя на благотворный итоговый результат (либо обязательные «вполне положительные» выводы и заключения) не позволит провести комплексное изучение проблемы, а станет неким обязательством отражать лишь «единственно правильный образ» отечественной государственности. В этом контексте вполне вероятным может стать вопрос о необходимости комиссий по фальсификации истории...

И.В. Михайлов: В России все идет своим чередом под руководством мудрых правителей

В чем мораль сочинений Б.Н. Миронова? Гадать не приходится: в России все идет своим чередом под руководством мудрых правителей. Не надо им мешать – только они способны были модернизировать Россию. Строго говоря, такие модернизаторы были и во времена, изучаемые Мироновым: в XVIII в. – Петр I и Екатерина II, в XIX в. – Николай I и Александр III. Но каковы отдаленные социокультурные последствия их деяний, если в XX в. их превзошел Сталин?

Миронов стал широко известен новому поколению российских историков и даже студентов как социальный историк. Правда, люди более искушенные недоумевали: а что, собственно, понимает Миронов под социальной историей? Вероятно, то, что не относится к истории политической. Такого поворота исторической мысли можно было ожидать. В свое время исследователям настолько надоело заниматься «классами и партиями», что они легко поверили, что Миронов представлял именно социальную историю. И на сей раз в этой мироновской социальной истории действуют лишь 2 субъекта российского исторического бытия – «умная» власть и «терпеливый» народ, модернизационному совокуплению которых мешает одна лишь «зловредная» общественность. Именно последняя и подготовила революцию буквально из ничего, в том числе и путем манипуляции статистическими данными. Для этого она планомерно создавала концепцию системного кризиса, которая до сих пор имеет немало сторонников (с. 689). Для опровержения векового заблуждения российской историографии Миронов привлек громадный материал, который, однако, имеет к собственно социальной истории весьма отдаленное отношение. Известно о существовании нескольких разновидностей лжи: малая, большая, наконец, статистика. На последнюю разновидность легче всего поддается человек, которому хочется быть обманутым. Скажем, бюрократическая отчетность советских времен настолько расходилась с социальным опытом, что всерьез ее могли воспринимать только люди, остро нуждающиеся в искусственной инъекции оптимизма. Создается впечатление, что Миронов рассчитывает главным образом на примерно такого же читателя. Социальную историю можно понимать как историю без политики. Так почему Миронов заканчивает свою книгу именно политикой? Не потому ли, что все работы этого автора преследуют политические цели?

В свое время Ю.М. Лотман писал, что самое страшное в истории народа – иллюзия о достижении такого общественного состояния, качественное изменение которого ненужно и невозможно, ибо «прогресс» возможен лишь в его рамках. Вот тогда-то и возникает представление о «конце» истории¹. Рассуждать так – значит накликал очередной системный кризис, т.е. делать то, чем так искренне увлечен Миронов.

В.П. Булдаков: Апологетика форсированного крепостничества, сдобренного патернализмом?

Честно говоря, я всегда преклонялся перед клиометрическим усердием Б.Н. Миронова, но никогда не мог понять, какое отношение оно имеет к собственно истории. Его новая книга повергла меня в еще большее изумление, нежели предыдущая.

Зачем нужна история? По моему – не очень оригинальному – мнению, для того же, что и всякая наука – познания мира, приближения к истине. Занятие увлекательное, но не всегда приятное: от некоторых страниц отечественной истории хочется зажмуриться. Миронов считает по-другому. В предыдущей книге он выдвинул задачу клиотерапии, т.е. лечения историей, конечно, совсем не той, с которой мы печально смирились, а искусственно созданной по «оптимистичным» лекалам. Новая книга также посвящена борьбе с негативным образом дореволюционного прошлого, сконструированным, как и все дурное, по мнению автора, в советское время (с. 14). Но теперь он как будто нашел инструмент, с помощью которого намерен убедить в абсолютной неоспоримости своих аргументов. Этот инструмент – историческая антропометрия. Спор о «благополучии-благоденствии» крестьян предреволюционной России тянется уже давно, а оптимист Миронов выглядит в нем убедительно разве что в глазах глубоко наивных людей. Похоже, что теперь он бросил в бой последний резерв...

В ряду наукообразной лексики современных обществоведов пальму первенства в России, несомненно, держит слово «модернизация». Кто и что под этим подразумевает, одному Богу известно. Несомненно, что для бывших истматовцев сей ритуальный термин ассоциируется с капитализмом или индустриализмом, а в целом под ним понимается нечто противоположное феодализму, авторитаризму и советской системе – то ли европеизация, то ли вестернизация. Для Миронова модернизация, судя по книге, предполагает исключительно ускоренный экономический рост. В XVIII в. ее успехи были достигнуты за счет «повышения налогов и повинностей, которые ухудшили положение простого народа и привели к увеличению продолжительности и интенсивности труда» (с. 262). Похоже, что Миронов занимается технократической апологетикой форсированного крепостничества, сдобренного патернализмом. Оказывается, при Петре I «тяготы войны и модернизации были равномерно распределены между всеми социальными классами, национальный доход обслуживал потребности всего общества, благодаря чему снижение благосостояния населения было минимизировано». К сожалению, в дальнейшем плоды модернизации были приватизированы помещиками (с. 262). Мораль ясна: правительству в России вечно кто-то мешает.

Вместе с тем для Миронова, как ни странно, именно такая модернизация – путь превращения традиционного общества в гражданское (с. 621). По его мнению, «начиная с реформ Петра I Россия вступила в процесс непрерывной форсированной глобальной модернизации, продолжавшейся до октября 1917 г.» (с. 690). Но что мешает прийти к заключению, что именно эта – государственная – «модернизация» повлекла за собой череду самых разнообразных, больших и малых кризисов, увенчавшихся системным кризисом начала XX в.? Или трудно догадаться, что именно бессистемные реформы вкупе со стихийной модернизацией ведут к системному кризису?

На мой взгляд, успех всякой модернизации – если имеет смысл употреблять это выхолощенное ныне понятие – связан с возможностью раскрытия творческого потенциала того или иного креативного класса. Это, в свою очередь, связано с прогрессом общественных свобод. Все новое создается в результате свободного человеческого творчества. Если государство возомнит себя единственным проводником бюрократически оцениваемого прогресса, то оно взрастит своего собственного антагониста, который готов будет высмеивать и поносить все без исключения его «исторические» деяния. Именно это мы наблюдаем на протяжении более чем двух последних веков.

Есть что-то сомнительное в «великих» деяниях власти, вызывающих неприятие не только низов, но и элит. Какой смысл говорить о «прогрессе», если он уродует человеческое естество? Миронова подобные сомнения, как видно, не смущают. Он ви-

дит единственное уязвимое место российской модернизации в том, что сила и степень вмешательства государства в жизнь людей оказалась «обратно пропорциональна силе гражданского общества» (с. 691). Но откуда последнему было взяться, если государство стремилось сделать из людей послушное стадо?

Мне кажется, усилия Миронова достойны лучшего применения. Историк призван «очеловечивать» прошлое, а не препарировать его под современные бюрократические окуляры. Прошлое нельзя «улучшить». Либо его понимаешь, либо становишься бессильным заложником «исторической непредсказуемости». Это в первую очередь относится к тем, кто склонен делать поверхностные замеры сложных глубин исторического бытия.

М.Д. Карпачев: Различая оптимизм разумный и чрезмерный...

Новая книга продолжает оптимистическую концепцию предыдущей книги Миронова «Социальная история России периода империи». Автор крайне негативно оценивает устойчивую популярность идей самобытности отечественной истории. Такие идеи часто выступают удобной ширмой, за которой скрываются, но не решаются острые проблемы российской жизни. А решать их не только нужно, но и можно. Исторический опыт, утверждает Миронов, свидетельствует, что все условия для нормального развития у нас есть, «и ничто не мешает России сейчас повторить успех 150-летней давности – занимать в течение длительного времени первое место в Европе по темпам экономического роста и общего развития» (с. 690). «А чтобы при этом не повторилась революционная катастрофа, уроки истории должны усвоить все: и власти, и оппозиция.

Несомненное достоинство авторского подхода состоит в его стремлении преодолеть один из самых устойчивых и застарелых штампов отечественной историографии: до установления советской власти положение народа с каждым столетием только ухудшалось, зато после октября 1917 г. с каждой пятилеткой шел неуклонный подъем его благосостояния. Как полагает Миронов, он нашел самый надежный путь раскрытия научной несостоятельности такого откровенно унижительного толкования российской истории. Исследование динамики биологической массы российского народа показало, что во второй половине XVIII в. материальное благосостояние людей действительно понизилось, зато в течение всего XIX в. оно с известными колебаниями, но неуклонно повышалось. Во всяком случае, параметры роста и веса говорят об этом вполне убедительно. После этого остается объяснить, почему биологические характеристики изменялись так, а не иначе. Ответ, который дает Миронов, достаточно прост. Надо решительно отказаться от разоблачительного подхода при анализе основных направлений социально-экономической политики российского самодержавия. Власти, утверждает автор, не хуже, а лучше оппозиционной интеллигенции, знали о реальных нуждах и потребностях народа.

Миронов убедительно показывает, что перед отменой крепостного права ни крестьянское, ни помещичье хозяйство не испытывали упадка. И в пореформенное время, вопреки утверждениям большинства исследователей, «уровень жизни крестьян повышался, и этому способствовали три принципиальных фактора: получение в результате крестьянской реформы достаточных наделов, умеренный выкуп за полученную землю и уменьшение налогового бремени в пореформенное время» (с. 318). Кроме того, широко бытующее в литературе представление об аграрном кризисе в России на рубеже XIX–XX вв., по оценке автора, не соответствовало реальному экономическому положению страны: этот тезис был порожден парадигмой пауперизации крестьянства, преднамеренно созданной оппозиционной общественностью. А на войне как на войне. Эта парадигма стала связываться со столь же виртуальной и нереалистической парадигмой всеобщего, или системного, кризиса российского самодержавия в XIX – начале XX в. И все ради того, чтобы опорочить ненавистный режим.

Собственно, исследование Миронова главным образом и направлено на раскрытие ущербности такого подхода к истории дореволюционной России. Автор справедливо отвергает политически ангажированные трактовки истории Российской империи как сплошного темного царства, не вышедшего якобы из состояния перманентного кризиса. Руководители самодержавного государства, обоснованно считает автор, умели находить оптимальные решения трудных задач социального, экономического и культурного развития. Верховная власть и в XIX в. не тормозила, а продвигала развитие России по пути модернизации. Миронов последовательно и аргументировано опровергает стереотип о реформах в России как побочном продукте революционной борьбы. Ничего конструктивного в революционных дискурсах он не находит. Не власть, а ее радикальные оппоненты, подчеркивает он, создали в стране атмосферу экономического и политического кризиса и подготовили почву для революции (с. 637). Но это случилось только в экстремальных условиях мировой войны. В XIX в. революционных ситуаций не было и быть не могло (с. 633). Исследователей, создавших горы работ о таких ситуациях, остается только пожалеть.

Думается, однако, что биометрические аргументы слишком увлекают автора, настраивая его на чрезмерно оптимистический лад. Спору нет, монархия в России и после отмены крепостного права сохраняла жизнеспособность, обеспечивая подъем экономики, культуры и материального благосостояния народа. Но не стоит забывать, что основополагающие принципы самодержавного строя после великих реформ подверглись сильным деформациям. Общественное самоуправление и независимый суд не соответствовали идеологии самодержавия. Об этом в свое время убедительно писал еще С.Ю. Витте, которому политическое интриганство не мешало порой объективно оценивать особенности политического развития страны. Кроме того, хорошо известно, что пореформенная модернизация сопровождалась развитием тяжелых диспропорций в экономике страны. Можно признать весомыми аргументы Миронова об отсутствии аграрного кризиса в России накануне и в начале XX в. Сельское хозяйство России действительно не деградировало, а развивалось, обеспечивая улучшение продовольственного положения населения. Но темпы его развития были существенно более низкими, чем в промышленности. Индустриальный и транспортный прогресс достигался все же за счет замедления темпов аграрного развития. Это остро чувствовали, например, воронежские землевладельцы. В комитетах Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности они обоснованно и остро критиковали экономическую, финансовую, тарифную и таможенную политику правительства, создавшую тепличные условия для развития промышленности, но в ущерб интересам аграриев.

Миронов высоко оценивает экономическую и социальную политику самодержавия после великих реформ. Эта политика, пишет автор, становится «более четкой, последовательной и эффективной» (с. 346). Действительно, экономический курс М.Х. Рейтерна, Н.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского, С.Ю. Витте можно назвать последовательным и эффективным, но не по отношению к сельскому хозяйству. Накопления для ускоренной модернизации путей сообщения и стратегически важных для государства отраслей промышленности в громадной степени проводились за счет сельского хозяйства, да иначе, впрочем, и быть в тех условиях не могло. Политика протекционизма, кровительства и прямых субсидий по отношению к избранным отраслям промышленности строилась на потребительском отношении к сельскохозяйственным производителям.

Биометрические показатели, по мнению Миронова, весьма точно отражают динамику материального благосостояния народа, в первую очередь, его питания. Историк, разумеется, понимает, что изменения таких показателей происходили не сами по себе. Каждое заметное колебание потребовало объяснений, за счет чего происходило ухудшение или, чаще, улучшение народного питания. Поэтому в книге дается детальный анализ статистики русских урожаев, налоговой политики властей, менявшегося уровня крестьянских доходов, заработной платы промышленных и транспортных рабочих,

цен на жизненно важные для народного продовольствия продукты. Большинству этих сведений можно верить. Качественные показатели материальных условий народной жизни в последние десятилетия существования империи действительно менялись к лучшему. Но нельзя забывать, что эта общая картина не исключала противоречивых процессов экономической стагнации и даже оскудения отдельных, причем немалых регионов. Автор утверждает, что при росте экспорта зерна не могло быть понижения внутреннего его потребления (с. 642). Законы рыночной экономики якобы исключают такое положение. Но у историка нет оснований не доверять А.Н. Энгельгардту, с горечью писавшему об ухудшении крестьянского питания в годы усиленного хлебного вывоза: «Американец продает избыток, а мы продаем необходимый насущный хлеб»².

О том, что вывозился за границу именно насущный хлеб, Энгельгардт писал не зря, и не из-за ложной парадигмы. Он внимательно наблюдал повседневную жизнь смоленских крестьян. Был точен в описании крайне скудных условий жизни отдельных воронежских селений и А.И. Шингарев, автор нашумевшей в свое время «Вымирающей деревни». Миронов, конечно, прав: отдельные мрачные картины не должны закрывать общего позитивного полотна российской жизни. Но и проблема острого оскудения отдельных регионов или социальных слоев была вовсе не надуманной. Рыночные механизмы в таких случаях не могли сами по себе повернуть хлебные потоки на внутреннее потребление. Для этого требовалась соответствующая платежная способность, а ее зачастую не было. Общероссийская картина действительно была благоприятной, но для ее оценки необходим учет новых явлений экономической и социальной жизни, в том числе, например, смещения населения в плодородные степи Северного Кавказа и Новороссии. О чем, кстати говоря, советует не забывать и сам Миронов.

Высоко оценивая теоретические разработки А.В. Чайнова об экономической устойчивости самообеспечивающихся крестьянских хозяйств, Миронов полагает, что пореформенная деревня именно так и развивалась. Причем особенно успешно, благодаря столыпинским реформам (с. 319). Однако реальная картина развития русской деревни оказалась далеко не столь идиллической. Столыпинские преобразования не были логическим следствием успешного развития сельского хозяйства. Они потому и проводились, что русская деревня в начале XX в. зашла в опасные экономические, социальные и политические тупики.

Автор фактически ничего не сказал об очень заметном и неуклонном сокращении душевого земельного обеспечения крестьянства в пореформенную эпоху. Вполне достоверные и много раз проверенные данные официальной статистики неумолимо свидетельствовали о том, что к 1905 г. средний по стране душевой надел сократился почти вдвое (с 4.8 до 2.6 десятин), урожайность же на наделных землях поднималась крайне медленно. Низкая доходность крестьянского земледелия оставалась неизменным спутником натурально-потребительской экономики деревни. Совершенно справедливо американский историк С. Беккер отмечает, что и в пореформенную эпоху подавляющее большинство крестьян «явно не имело ни малейшего понятия о том, как вести учет прибылей и убытков и не помышляло о накоплении капитала ради расширения производства». Покупая после освобождения помещичьи земли, они следовали традиции и «стремились всего лишь свести концы с концами путем увеличения скудных земельных наделов, полученных ими в ходе освобождения крепостных»³. Да и сам Миронов признает: «Крестьянство, особенно страдавшее от малоземелья, требовало экспроприировать частновладельческую землю, принадлежавшую не-крестьянам и таким простым способом удовлетворить свои возросшие материальные потребности» (с. 668). Как это признание совместить с утверждением о достаточности земельного обеспечения пореформенного крестьянства?

Одним из факторов подъема экономики крестьянских хозяйств Миронов считает рост цен на хлеб. Но этот фактор действовал на крестьян очень противоречиво. Так как крестьяне-общинники в абсолютном большинстве продолжали вести натурально-потребительское («моральное», по определению А.В. Чайнова) хозяйство, то хлеб они выращивали не для продажи. Живу я с земли, говорил воронежский крестьянин, а

деньги для уплаты налогов и покупок получаю с промыслов и с отхода. Даже в черноземном центре России большинство крестьян в начале XX в. весной и летом покупали хлеб. Такое положение предопределяло заинтересованность крестьян в низкой цене на хлеб, в высокой цене были заинтересованы частные землевладельцы. Здесь и проявлялось хроническое противоречие экономических интересов помещиков и крестьян, о чем убедительно писал в своих «Письмах» А.Н. Энгельгардт. При аграрном перенаселении (а уровень относительной избыточности аграрного труда в регионах доходил до 40%) земледелие оставалось наименее прибыльной отраслью крестьянского труда. Развитие потребностей и рост благосостояния воронежского крестьянства определялись не земледелием, а сильно возросшей мобильностью. Пресловутое самообеспечение неуклонно разрушалось, на смену ему шли рыночные отношения. А это и вело к повышению материальных условий жизни.

Один из самых актуальных сюжетов монографии Миронова – кропотливый анализ статистических сведений о развитии сельского хозяйства, постановка вопроса об их достоверности. Автор уверен, что производственные показатели аграрного сектора экономики дореволюционной России систематически, заведомо или непроизвольно, занижались. И напротив, распространенные представления о налоговом гнете над крестьянами в книге характеризуются как явно преувеличенные. Приведенные данные действительно говорят о том, что прямые налоги в России не были чрезмерными. Но нельзя забывать о другой стороне медали. Натурально-потребительская организация крестьянского хозяйства обусловила относительную бедность российского населения в сравнении со странами Запада. Американский исследователь П. Грегори, оптимистически оценивавший экономическое положение Российской империи, все же отметил: «Перед началом Первой мировой войны российский доход в расчете на душу населения составлял одну треть показателей Франции и Германии и около 60% показателя Австро-Венгрии»⁴. При этом и Франция и Германия не являлись мировыми лидерами по размерам душевого дохода. Низкий уровень налогов являлся отражением невысокой доходности народного труда. Он определялся не столько социальной озабоченностью правительства, сколько относительно невысокой эффективностью экономики, неизбежной при избытке аграрного населения. И еще одно соображение. Миронов не относит к налогам выкупные платежи. Так оно формально и было. Но и сравнение с ипотекой за квартиру не выглядит убедительным. Выкуп для крестьян был обязательным. Реформа, как известно, фактически навязывала им высшую норму надела. Поэтому для них выкупные платежи растворялись в общей массе денежных повинностей, причем весьма обременительных и отмененных ради умиротворения крестьянских волнений. Философствовать на тему о различной природе выкупных платежей и прямых налогов крестьянин не мог.

Автор провел огромную работу по подбору источников. Но порой добросовестное их цитирование может озадачить читателя. Например, одним из весомых доказательств благосостояния крестьян он призывает считать рост их непроизводительных расходов: «Удовлетворение потребностей случается сплошь и рядом в ущерб удовлетворению более насущных нужд... Роскошь в нарядах доходит до безобразия. Не редки примеры, что крестьянин опустошал свой двор и амбар, чтобы купить жене платье в 100 руб. и себя нарядить в городское платье». На следующей странице дается цитата из любившихся автору воспоминаний А.А. Фета: «Еще меньше можно равняться с крестьянином в искусстве уменьшать круг потребностей... Предметы, соблазняющие вас на каждом шагу, ему для личного потребления даром не нужны... Сколько жертв непосильной работы, сколько мошенничества и казнокрадства из-за каких-нибудь женских нарядов и т.п. предметов тщеславия... Подобных побуждений к обогащению для крестьянина не существует» (с. 565). Избыточный, а потому и ненужный доход крестьянин с удовольствием пропивает. Забавно, что эти взаимоисключающие свидетельства используются для доказательства тезиса о росте народного благосостояния.

В книге убедительно, на мой взгляд, показано, что уровень средних по стране крестьянских доходов в пореформенную эпоху повышался. Но повышался он, по оценке

автора, не быстро, а ровно настолько, насколько это было надо крестьянам для рационального использования производственных возможностей своих хозяйств. Поскольку потребности страны в продуктах сельского хозяйства удовлетворялись относительно легко, постольку крестьяне не спешили с форсированием доходности своего труда. Излишние доходы им были не нужны, а порой даже вредны. Вот почему, подчеркивает автор, распространение в пореформенную эпоху народного пьянства свидетельствовало, прежде всего, о росте избыточных доходов крестьян и рабочих. Вслед за Фетом Миронов призывает признать за алкогольными тратами роль полезного вентилятора, проветривавшего карманы крестьян от ненужных им средств.

Доля истины в наблюдениях Фета, несомненно, была. Легко заметить, однако, что пьянство быстро переходило к «вентилированию» не только «избыточных», но и жизненно необходимых доходов. Гораздо чаще оно становилось спутником не благосостояния, а бедности и разорения. О пагубном развитии крестьянского пьянства повествовал в своих очерках народной жизни писатель-демократ Н.М. Астырев: «Должен признаться: я решительно не могу себе представить, до чего еще может дойти в будущем слабость к водке сельских сходов?.. Кажется, идти некуда, ибо и теперь уже делаются невероятные вещи... разум у крестьян при виде водки как бы перестает действовать, и тем в большей степени, чем их большее количество собрано вместе»⁵. Стоит подчеркнуть, что эти горькие строки написаны «мужицким доброхотом», никак не склонным к очернительству крестьянских порядков.

Миронов отмечает, что и Фет, и Чайнов убедительно показали высокую степень рациональности крестьянского хозяйства. Однако принять положение о том, что устойчивое крестьянское хозяйство представляло собой альтернативу прошедшей в стране ломке традиционных устоев отечественной экономики очень трудно. А именно так оценивает автор концепции сторонников организационно-производственного направления в исследовании экономики русской деревни. К сожалению или к счастью, но резкое снижение доли аграрного населения стало в начале XX в. неотвратимой потребностью страны, вставшей на путь масштабной модернизации. Исторические вызовы не допускали сохранения России как эффективного государства с доминированием любезных сердцу Чайнова и других неонародников самодостаточных крестьянских хозяйств.

Да, собственно, Миронов сам это фактически признает. Совершенно справедливо он утверждает, что столыпинская реформа «создавала самые благоприятные условия» для ускорения аграрной модернизации (с. 665). Действительно, «посредством захвата собственности решить проблему малоземелья и низких доходов крестьян было невозможно». Повышение доходности могла обеспечить только агротехническая революция, а это требовало времени и огромных средств.

М.А. Давыдов: «Модернизацию имперской России следует признать успешной»

Историки старшего и среднего поколения помнят то время, когда отрицать закономерность 1917 г. можно было с тем же успехом, с каким при Николае I гласно говорить о конституции в России. Едва ли не главным аргументом в пользу предопределенности революций 1917 г. в советской историографии был низкий и постоянно понижающийся уровень жизни россиян. Постулаты о том, что Россия была страной с наименьшим среди держав душевым потреблением хлеба, которое усугублялось «голодным экспортом» последнего, что крестьяне страдали от малоземелья и «непосильных налогов», что аграрная реформа Столыпина провалилась и многое другое, были, по сути, аксиомами, которые не обсуждались. Безусловный подъем жизненного уровня населения, особенно после 1905 г., во внимание не принимался. Из всего этого неизбежно вытекала закономерность революций 1917 г. При этом, если сопоставить аргументы дореволюционной народнической литературы, публицистики и советской историографии, мы найдем весьма много общего⁶.

Позволю себе привести некоторые факты, подтверждающие точку зрения Миронина. Несколько слов об одном из главных тезисов, на которых держится идея России, «приговоренной к революции» – на тезисе о «голодном экспорте». Известно, что твердое убеждение традиционной историографии в тяжелом положении народных масс в огромной степени базируется на данных урожайной статистики ЦСК МВД и земских обследованиях. Мои исследования подтвердили со всей определенностью мнение, что это источники ненадежные, поскольку они так или иначе основывались на опросах крестьян и занижали размеры сборов – неоднократно размеры отправления главных хлебов превышают, иногда вдвое, размеры урожая.

Анализ динамики соотношения внутреннего и вывозного железнодорожного отправления всех хлебных грузов из черноземных губерний, которые в течение рассматриваемого периода оставались основными поставщиками товарного хлеба на внутренний и внешний рынки, наглядно иллюстрирует процессы, происходившие в зерновом хозяйстве России в конце XIX – начале XX в. Так, в сравнении с 1894–1895 гг. (первый период) в 1901–1903 гг. (второй период) общее отправление всех хлебных грузов по стране выросло с 661.1 млн до 926 млн пудов, т.е. в 1.4 раза, а в 1908–1911 гг. (третий период) – до 1 194.6 млн пудов, или в 1.8 раза. Вывозное отправление увеличилось соответственно с 388.4 до 415.8 млн пудов, т.е. в 1.1 раза и до 544.7 млн пудов, или в 1.4 раза. Внутреннее отправление росло значительно быстрее: 272.7 млн пудов в 1894–1895 гг., 510.2 – в 1901–1903 гг. и 649.9 млн пудов в 1908–1911 гг., т.е. рост в 1.9 и в 2.4 раза. При этом участие отдельных губерний в снабжении рынка хлебом было далеко не одинаковым.

Общая величина прироста железнодорожного отправления всех хлебных грузов в 1908–1911 гг. (третий период) в сравнении с 1894–1895 гг. (первый период) составила 533 523 тыс. пудов. Из них 210 691 тыс. пудов, или 39.5%, приходится лишь на 6 губерний и областей с приростами от 30 до 39.5 млн пудов: Херсонскую, Екатеринославскую, Самарскую, Саратовскую, Донскую и Кубанскую. В 6 губерниях – Воронежской, Полтавской, Оренбургской, Харьковской, Тамбовской, Ставропольской и Терской обл. приросты от 17 до 26 млн пудов) – суммарный прирост составил 149 280 тыс. пудов, или 27.9%. Приросты от 6.5 до 10.3 млн пудов зафиксированы в Курской, Уфимской, Киевской, Волынской, Пензенской, Бессарабской, Таврической и Симбирской губ., а их сумма составила 65 318 тыс. пудов, или 12.2% всего прироста по стране⁷. Сказанным вполне проясняется потенциал отдельных черноземных губерний в плане дальнейшего участия в хлебной торговле. В ряде не только северных, но и южно-черноземных губерний очевидно замедление темпов роста железнодорожного отправления всех хлебных грузов, отражающее рост плотности населения, усиление в силу этого местного потребления производимых хлебов и завершение экстенсивного этапа расширения зернового хозяйства.

Сопоставление данных о вывозном отправлении всех хлебных грузов для первого и третьего периодов дает общую картину его эволюции. В Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Подольской и Киевской губ. общее снижение экспортного отправления составило 18 988 тыс. пудов. В остальных губерниях оно выросло на 173 163 тыс. пудов. Из этого количества 76 652 тыс. пудов, или 44.3%, приходится на Херсонскую губ., Донскую и Кубанскую обл.; еще 29.5% прироста (51 155 тыс. пудов) сконцентрировано в Екатеринославской, Саратовской, Самарской и Ставропольской губ.

Иначе говоря, экспорт хлеба из России увеличивался в конце XIX – начале XX в. прежде всего за счет лишь 7 губерний степной полосы, которые дали в сумме 127.8 млн пудов, или 81.9% прироста вывозных перевозок всех хлебных грузов.

Экспорт хлеба из России – это прежде всего экспорт пшеницы и ячменя, доминировавших среди культур в степной полосе и производившихся (особенно ячмень) в первую очередь для нужд внешнего рынка. Размеры увеличения среднегодового вывозного отправления в других губерниях в масштабах страны сравнительно незначительны. Если в первом периоде вывозное отправление было важной составной частью перевозок в Центрально-Черноземном районе, Юго-Западных, Малороссийских и других

северно-черноземных губерниях, то в третьем периоде его размеры там падают и по абсолютной, и по относительной величинам⁸. Иная картина возникает при сопоставлении внутреннего отправления в первом и третьем периодах. Его прирост в Курской губ. составил 12 035 тыс. пудов (тогда как абсолютные размеры среднегодового вывозного отправления снизились на 1702 тыс. пудов); схожая картина наблюдается в Орловской (соответственно 6 704 и –3 170 тыс. пудов), Тульской (6 565 и –2 402 тыс. пудов), Рязанской (4 863 и –765 тыс. пудов), Киевской (10 281 и –1 505 тыс. пудов), Подольской (4 411 и –9 444 тыс. пудов) губ. Замечу, что даже в тех губерниях, общее отправление которых имело тенденцию к уменьшению (Бессарабской, юго-западных, Черниговской), это происходило не за счет внутреннего отправления, а за счет сокращения перевозок в таможенные пункты. Очень важно, что и там, где экспортное отправление в целом не уменьшается, приросты внутреннего отправления значительно, иногда в несколько раз, выше приростов вывозного отправления. Подобная картина наблюдается в таких губерниях, как Харьковская (17 393 и 2 384 тыс. пудов), Полтавская (20 413 и 4 658 тыс. пудов), Оренбургская (18 493 и 5182 тыс. пудов), Самарская (24 924 и 14 634 тыс. пудов), Воронежская (18 898 и 6 865 тыс. пудов), Саратовская (24 703 и 9 800 тыс. пудов), Тамбовская (18 706 и 901 тыс. пудов), Терская (14 334 и 3 660 тыс. пудов). Существенный рост значения внутреннего рынка и падение роли рынка внешнего совершенно очевидны.

В целом соотношение внутреннего и внешнего хлебных рынков в XX в. поменяло знак в сравнении с 1890-ми гг. за счет как абсолютного, так и относительного роста внутреннего рынка (исключая ячмень, который оставался по-прежнему сугубо экспортной культурой и даже превзошел в этом отношении пшеницу). Особенно заметно это возросшее значение внутреннего рынка для северно-черноземных и восточных губерний, в то время как для Новороссии, более близкой к портам и в силу этого, прежде всего ориентированной на вывоз, значение экспорта оставалось большим, хотя и здесь оно уменьшилось. В целом развитие внешнего рынка отставало от внутреннего. Процесс этот был естественным и закономерным. Таковы были непосредственные результаты индустриализации, урбанизации и роста капитализма в стране⁹.

Мифологический характер тезиса о «голодном экспорте», а равно и апокалиптических картин, рисуемых оппозицией, особенно наглядно выступает при сопоставлении показателей поступлений от выкупных платежей, размеров крестьянских недоимок и общей суммы поступлений питейного дохода, которая всегда значительно превышала сумму упомянутых платежей крестьян. Так, в 1892 г. было уплачено 77 088 тыс. руб. выкупных, 1895 г. – 101 297, 1897 г. – 88 518 тыс. руб., а средние недоимки за 1891–1895 гг. составили 98 144 тыс. руб. Между тем средний питейный доход в 1890–1899 гг. равнялся 2 815 189 тыс. руб. Однако наиболее выразительным представляется сравнение стоимости экспорта хлебов из России (пшеница, рожь, овес, ячмень, гречиха, просо, кукуруза, горох, бобы, – чечевица, фасоль, крупа всякая, прочие непоименованные хлеба) и питейного дохода. В 1903–1912 гг.: первый показатель в среднем составил 537 662.2 тыс. руб., а второй – 729 656.8 тыс. руб., т.е. вывоз хлеба равнялся 73.7% выпитой населением страны водки (в 1913 г. соответствующие показатели таковы – 561 270 тыс. руб., 952 810.4 тыс. руб. и 58.9%).

Я не намерен вторгаться в психологические сферы, обсуждать сложнейший феномен удовлетворения человеческих потребностей, я не собираюсь, условно говоря, никого ни извинять, ни обвинять и тем более ставить «диагноз». Я просто хочу указать на столь явное противоречие между привычными народническо-марксистскими построениями и реальностью, во-первых, а во-вторых, со всей определенностью заявить, что до тех пор, пока эти и схожие факты замалчиваются, скрываются и т.п., трудно рассчитывать на какой-либо прогресс в изучении социально-экономической истории Российской империи.

О росте благосостояния населения в рассматриваемый период говорит, в частности, и тот факт, что общая сумма доходов по ведомству Главного управления неокладных сборов и казенной продажи питей (доходы сахарный, табачный, с папиросной бумаги и

гильз, нефтяной, спичечный и питейный) за 1903–1913 гг. увеличилась с 741 072.5 тыс. до 12 536 619 тыс. руб., т.е. в 1.7 раза. Об увеличении потребления жителей страны можно судить и по впечатляющим данным о железнодорожной транспортировке ряда важных народнохозяйственных и потребительских товаров, содержащимся в «Сводной статистике перевозок по русским железным дорогам»¹⁰.

Таковы лишь некоторые из возможных иллюстраций того, в каком направлении шло развитие России в предвоенные 25 лет. Они, полагаю, убедительно демонстрируют потенциальную емкость рынка и материальных возможностей населения страны, свидетельствуя о том, что многие его потребности еще только начинали раскрываться и удовлетворяться. Приведенная статистика характеризует отнюдь не страну, «готовящуюся» к революциям из-за низкого или снижающегося уровня потребления. Кстати, сторонникам закономерности революции 1917 г. можно задать несложный встречный вопрос: а империи, соседние с Российской – Германская, Австро-Венгерская и Османская в 1918 г. – тоже рухнули от недоедания и снижения благосостояния? Или были, возможно, какие-то другие причины?

Я совершенно солидарен с мнением Миронова о фатально-провокационной роли в нашей истории той части русской интеллигенции, которую почему-то принято именовать либеральной. Нельзя не согласиться с его оценкой несостоятельности мальтузианской и структурно-демографической концепций русских революций, равно как и с тем, что «теория модернизации объясняет лучше, чем марксистская и мальтузианская концепция, как историческую динамику российской истории XVIII – начала XX в., так и происхождение русских революций начала XX в.» (с. 661).

Принципиально важной я считаю мысль автора о том, что «во избежание недоразумений и неверных толкований», сделанный им «вывод о систематическом повышении уровня жизни населения в XIX– начале XX в.» не означает, что «широкие массы российского населения, прежде всего крестьянство, в пореформенное время благоденствовали или даже жили зажиточно. Они жили по-прежнему небогато, как, впрочем, и большинство населения других европейских стран, уступая лишь наиболее развитым из них. Но *уровень их жизни, несмотря на циклические колебания, имел позитивную тенденцию – медленно, но верно увеличиваться* (курсив Б.Н. Миронова. – М.Д.)» (с. 662).

Одним из ключевых выводов автора представляется следующий: «Экономика, общество и государственность страны в течение всего имперского периода, особенно в пореформенное время, достаточно успешно развивались: валовой национальный продукт на душу населения, продолжительность жизни и уровень грамотности увеличивались, жизненный уровень повышался, государственность совершенствовалась, гражданское общество формировалось, а наука, литература и искусство давали образцы мирового значения. Особо подчеркну, что в последние 120 лет существования империи, 1795–1914 гг., материальное благосостояние российских граждан повышалось, хотя поступательное движение неоднократно прерывалось войнами, радикальными реформами или общественными смутами. Если цель всех социальных изменений состоит в том, чтобы улучшить жизнь людей, модернизацию имперской России следует признать успешной, несмотря на все издержки» (с. 690).

А.А. Куренышев: Куда шли вырученные от продажи русского зерна деньги?

Позволю себе небольшой экскурс в начало прошлого века, в тот «золотой» период развития нашего сельского хозяйства, который так пленяет современных апологетов либерального самодержавия или самодержавного либерализма тем «небывалым подъемом» сельского хозяйства, ярким свидетельством которого они считают постоянно возрастающий экспорт сельскохозяйственной продукции, и особенно, сливочного масла из России. И М.А. Давыдов, и Б.Н. Миронов отрицают существование «голодного экспорта» хлеба, считая его выдумкой, преувеличением «плачущей историографии».

Вопрос ведь надо ставить несколько иначе: куда шли вырученные от продажи русского зерна деньги? Доставалась ли хоть малая толика их крестьянам? Или львиную их долю присваивали посреднические фирмы, контролировавшиеся иностранным капиталом. Под прессом рынка крестьянин, чтобы получить как можно больше товарного зерна, нарушал все мыслимые агротехнические нормы. У помещика в силу сословных привилегий положение было лучше. Крестьянин же надрывал себя, свою скотину, насиловал из года в год землю.

Не стану касаться проблемы экспорта хлеба, приведу лишь свидетельства людей, наблюдавших за здоровьем крестьянских детей и объяснявших его состояние столь ценным в качестве свидетельства успешности проводившейся государственной политики экспортом сливочного масла. Так вот, и земские и правительственные службы здравоохранения отмечали как непреложный факт явные признаки среди крестьянских детей роста заболеваемости рахитом и золотухой, связанных с недостатком витаминов, других питательных веществ, поступающих в организм ребенка с молочными продуктами в местностях, где успешно развивалось маслоделие. «В Новгородской губернии на съезде земских врачей в 1901 г. доктор Кузьмин отмечая такое явление недостаточного питания с развитием маслоделия в Кирилловском уезде, останавливался особенно на здоровье детей. Из 2 752 обследованных детей в тех деревнях, где особенно охотно несли молоко на заводы, 1 872 ребенка со следами рахита и золотухи (68%); из них 32% в сильно выраженной степени»¹¹. «С появлением маслодельных заводов, – писал В. Дроздов, – исчезает единственный питательный материал для организма человека, каким представляется молоко и его продукты»¹². Рост благосостояния русских мужиков можно проследить и используя столь любимые Давыдовым данные статистики железнодорожных перевозок сельскохозяйственных грузов. В 1901 г. по железным дорогам было перевезено 4 982 тыс. пудов сливочного масла, а в 1906 – 6 260 тыс. пуд., то есть на 28% больше. «Но это увеличение перевозки масла объясняется не столько возросшим потреблением его внутри страны, сколько усилением его вывоза за границу. За 1901–1906 гг. вывоз масла возрос на 60%. На долю же внутреннего потребления в 1906 г. (3 196 тыс. пуд.) приходилось лишних, по сравнению с 1901 годом (3 014 тыс. пуд.) всего лишь 6%», – писал Дроздов¹³. Не буду говорить уже о классово-сословных различиях в питании разных слоев русского общества.

Т.Г. Леонтьева: Теряется духовная составляющая общественного прогресса

Работы Б.Н. Миронова показательны для иллюстрации того, как велик может быть разрыв между субъективными представлениями людей и «объективными» статистическими данными об их жизни. Автор утверждает, что за привычной для нескольких поколений россиян картиной прошлого могла таиться куда более вдохновляющая реальность. Однако возникает вопрос: каким источникам отдавать предпочтение при оценке благосостояния людей прошлого? Ориентироваться на личные свидетельства или обратиться к официальной («бюрократической») статистике? Кстати сказать, Россия управлялась бюрократией именно на основе «объективных» статистических данных – так устроена система, дающая, правда, периодически революционные сбои. Представляется, что новая книга Миронова нуждается в источниковедческом анализе особого рода, броские (хотя уже знакомые) выводы хочется перепроверить. Ограничусь, однако, сюжетами, более мне знакомыми.

Прежде всего впечатляет та часть исследования, где показана относительность личных свидетельств современников о растущем благосостоянии крестьян. Получается, что А.С. Пушкин (1835 г.) опровергает А.Н. Радищева (1790 г.), иностранцы также совершенно расходятся в оценках друг с другом (с. 542). Члены правительственной комиссии (1872–1873 гг.) тоже давали разноречивые сведения о положении сельского хозяйства, хотя в целом довольно оптимистичные (с. 551, 561). Из этого вытекает ряд вопросов. Спрашивается, был ли смысл состоятельным помещикам, предводителям

дворянства (см. состав участников: с. 567) критично оценивать происходящее? Очевидно, что полученные данные зависели от позиции наблюдателей, а они, как правило, были людьми *другой* культуры (как, между прочим, и мы, люди XXI в.). Так, практически все бывшие владельцы освобожденных крестьян были довольны растущим уровнем потребления ими водки, а А.А. Фет даже заключил, что пьянство, подобно «вентилятору», поглощает избыточные, по мнению сельских тружеников, доходы (с. 557, 565). Но как совместить это с прогрессирующей в России модернизацией, апологетом которой выступает Б.Н. Миронов? Как соотносится это с нежеланием крестьян работать?

Согласно выводам автора, с 1850-х гг. к началу XX в. в крестьянском календаре неуклонно росло число нерабочих дней: в 1902 г. насчитывалось 107 рабочих дней против 258 нерабочих. Между тем протестанты работали тогда 300 дней в году. Православные же сельские труженики пользовались всяким случаем, чтобы завести новый праздник, несмотря на запреты начальства. В Юго-Западном крае они даже присоединялись к чествованию католических и еврейских памятных дат (с. 587). Иной раз крестьяне забывали о летней страде, отмечая «самими ими сочиненные праздники». Представляется, что это яркая иллюстрация идентификационного кризиса основной массы населения. Во всяком случае, и чиновники, и земцы были против подобной праздности (с. 583). Напрасно, на мой взгляд, духовенству «вменяется» заинтересованность в праздниках «по соображениям дополнительного дохода» (с. 557–559). Такое мнение не вполне корректно: священники кормились в основном с треб, а не от скудных праздничных подношений. Словом, идиллия сельского безделья не вписывается в модернизационный процесс.

По мнению Миронова, рост числа праздников «свидетельствовал о том, что основные потребности крестьян удовлетворялись при меньшем числе рабочих дней», благосостояние их стремительно росло, «благодаря повышению производительности труда и уменьшению налогового бремени», при этом они стали не только лучше одеваться, но и вести разгульную жизнь. Отличались этим не только русские – нечто подобное было замечено и у литовцев (с. 560–561, 564). Правда, почти 30% респондентов отмечали ослабление крестьянского хозяйства, почти 29 – понижение благосостояния крестьян, а 36,4% – «недостаточность земельного надела» (с. 562). Помещичье хозяйство переживало еще бóльшие трудности, хотя свыше 43% экспертов засвидетельствовали прогресс частновладельческого хозяйства (с. 562–563). Свидетельствуя (вслед за документами) о деструктивных тенденциях в аграрной сфере, автор относится к ним «оптимистично». Любой земледелец, по его мнению, привык жаловаться на погодные условия и преувеличивать встающие перед ним проблемы и трудности (с. 569).

Миронов указывает на причины пореформенного нерадия крестьян: заставляя их работать стало некому, а они довольствовались жизненно необходимым минимумом. Ссылаясь не только на Фета, но и на А.В. Чайнова, он хладнокровно констатирует, что «модернизирующееся» крестьянство ограничивало степень самоэксплуатации, поскольку было «нацелено не на получение прибыли, а на доставление средств существования хозяйствующей семье» (с. 566). Между тем стоило бы прислушаться к словам Фета о том, что в России уживались 2 вида экономической деятельности – коммерческий и крестьянский (с. 564). Если так, то не означает ли это, что в рассматриваемый период в России налицо был тот самый социокультурный раскол, который при неблагоприятных обстоятельствах провоцировал революционный срыв модернизации?

Случайно ли Миронов удивительно скупо сообщает о неурожаях и голоде 1891–1892 гг., в результате которого погибло около полумиллиона крестьян? Он «списывает» людские потери на счет холеры, от которой в 1892 г. погибло более 300 тыс. человек, очевидно, полагая, что эти жертвы никак не связаны ни с недородом, ни с миграционными процессами. Более того, автор уверяет, что правительственная помощь голодающим оказалась на редкость эффективной, режим «доказал свою жизнеспособность и обнаружил серьезные резервы для собственного усиления», тогда как земства показали свою недееспособность (с. 573). Этот вывод явно резонирует извечный тезис российской бюрократии, для которой народ всегда «темен», общественность – «безответственна». Допустим, что они правы, но разве подобные мнения не отражают растущий конфликт

власти и общества, правительства и народа? Сколько мне помнится, практически все мемуаристы указывают, что именно голод 1891–1892 гг. вызвал колоссальную антиправительственную радикализацию общества.

Представляется, что в ходе исследования «расшифровка» событий и явлений в контексте культурной среды, их породившей, подменяется языком цифр, которым можно выборочно доверять или не доверять. Так, Миронов без колебаний доверяет данным комиссии по исследованию положения сельского хозяйства (1872–1873 гг.), но материалы Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности (1902–1905 гг.) вызывают у него сомнения или недоверие. Оказывается, что ее сведения нельзя считать объективными, поскольку комиссия после очередного неурожая (1901 г.) предвзято сконцентрировалась на проблемах упадка деревни (с. 575), критике финансовой деятельности правительства (с. 581) и вообще была крайне «политизирована» (с. 589, 590, 591, 593). А в целом «либерально-демократическая общественность весьма удачно воспользовалась Совещанием 1902 г. для пропаганды своей программы и демонстрации несостоятельности политики правительства» (с. 594). Между прочим, как явствует из текста, губернские комитеты Совещания в Европейской России на 29.6% состояли из чиновников, на 36.8 – из дворян-землевладельцев, на 22.7 – из земцев и на 2.2% – из крестьян (с. 574). Возникает вопрос, из кого они должны были состоять, чтобы «объективно» оценить ситуацию?

На мой взгляд, из приводимых Мироновым мнений представителей местных комитетов Совещания можно составить подлинную программу модернизации аграрного сектора экономики. Если расположить их мнения по степени релевантности, то окажется, что поднять культурный уровень деревни предлагалось в 88.6% мнений комитета, введение земства в неземских губерниях – в 69.3, поддержать переселение крестьян – в 68.5, расширить источники земского налогообложения – в 64.5, стимулировать развитие сельскохозяйственных союзов – в 63.7, привлечь к платежу мирских расходов все сословия – 62.3, отчислить часть питейного дохода на местные нужды – 61.5%. За всеобщее народное образование высказалось 60.2% комитетов, упразднить общину предлагали 55.7, а устранить сословную обособленность крестьян – 58.8% комитетов (с. 582–583). И это вопреки тому, что основная масса либералов выступала против разрушения общины.

Кстати, после революции 1905 г. правительственная политика двинулась именно в указанном Совещанием направлении. Автор, однако, утверждает, что общественность далеко не всегда адекватно понимала происходившие в стране социально-экономические процессы (с. 600). Современникам в принципе не дано «адекватно» оценивать происходящее. Однако совершенно очевидно, что общественные деятели всегда оказываются куда ближе к действительности, нежели представители правящей элиты. И этот разрыв в рассматриваемый период неуклонно увеличивался.

Миронов привлек к своему исследованию материалы еще одной комиссии, исследовавшей именно рост благосостояния сельского населения среднеземледельческих губерний. По мнению инициатора комиссии С.Ю. Витте, она была призвана выявить наиболее объективную картину состояния крестьянского хозяйства. Материалы этой комиссии, состоявшей из более 100 специалистов, которые вывели «суммарный показатель уровня благосостояния губернии» (с. 569), Миронову также не понравились. Он, по-своему интерпретируя разноголосицу мнений ее членов, уверяет: «если положение ухудшилось только в 18 губерниях», значит в остальных 32 губерниях оно повысилось! Кроме того, эксперты комиссии, согласно Миронову, как всегда оказавшиеся «в плену парадигмы кризиса и упадка», не сумели сделать адекватные выводы из собранного материала (с. 597). По мнению Миронова, эксперты напрасно объявили фиктивными данные о росте урожайности на основании совершенствования сведений о сборе хлебов. Неверно оценили они и такой объективный источник роста благосостояния, как увеличение числа вкладов и размеров сбережений в 1880–1900 гг., связав этот феномен с развитием сети сберегательных касс (с. 598). А в целом члены Комиссии в лице 14 министерских чиновников и 18 земских деятелей

вместо того, чтобы признать рост благосостояния крестьян, отвергли записку земцев, указывавших, что одними экономическими мерами успеха в этом деле не добиться – требуется «усовершенствование самого крестьянина», т.е. повышение уровня его гражданской, правовой и хозяйственной культуры, а также облегчить возможность выхода из общины (с. 599). И вообще напрасно члены комиссии лезли не в свое дело – критиковали правительственную политику. В связи с этим Миронов даже выражает одобрение действиям власти, «поставившей на место» представителей «либеральной бюрократии» (с. 600).

После этого осталось только заклеить позором то ли слишком нервную, то ли глупую российскую общественность, вроде Саввы Морозова, которая взялась разрушать государственность. Спору нет, в истории немало «больших» заблуждений. Но, право, не стоило бы сваливать все на PR, якобы зафиксированный в России «с древних времен» (с. 603). В конце концов, российская власть всегда занималась пропагандой, используя для этого, помимо собственного аппарата, также добровольных помощников.

А в целом, по прочтении книги Миронова возникает вопрос: насколько счастливее почувствовали бы себя люди, если бы им объяснили, что их благосостояние растет на глазах стороннего наблюдателя, и что их среднестатистический рост вырос за полстолетия на несколько сантиметров? Получается, что актуальнейшая задача российских правителей вовремя внушать своим подданным, что неуклонная властная забота о них находит «объективное» телесное воплощение. Между прочим, в советское время официальная пропаганда только этим и занималась, используя все ресурсы – от СМИ до трибуны партийных съездов. И ей достаточно было долго верили – как сегодня многим хочется верить «оптимистичному взгляду» на историю.

Впрочем, статистические данные, представленные Мироновым, столь многогранны, что хотелось бы затронуть и иные сюжеты. В свое время еще Ленин подметил, что российская революционность «началась» (вопреки марксизму) не с буржуазии (мелкой и крупной), а с дворянства. Почему? Вероятно, потому, что наиболее образованные классы не могли мириться с неэффективностью тех самых «модернизационных» процессов, о которых повествует Миронов, заявляя, что «деклассированное дворянство и духовенство уходило из элиты и чаще всего пополняли ряды не революционеров и оппозиционеров, а преступников в городе, крестьян и рабочих – в сельской местности» (с. 653). Вероятно, это надо понимать так: разложение социальной и идеологической опоры самодержавия – естественный результат модернизационных процессов, носящих в целом сугубо эволюционный характер!

В свое время мне пришлось писать о том, что именно выходцы из духовного сословия дали наиболее высокий процент революционеров. Совершенно очевидно, что деморализующая население правительственная «модернизация» встречала наибольшее сопротивление среди образованных классов, и, конечно, отнюдь не в силу их «консервативности». Видимо, автор не разделяет идею о духовной составляющей общественного прогресса, а в содержании процесса модернизации он акцентирует материалистическую составляющую.

Необычную интерпретацию дает Миронов правительственной политике в церковной сфере. Оказывается, что Синод «уменьшил число штатного духовенства и изменил его структуру» исключительно благодаря пожеланиям прихожан, заинтересованных в поддержании «торжественности и пышности службы» с помощью низших церковных служащих (с. 653–654). Однако следует признать тезис, уже не раз подтвержденный исследователями, что государство попросту экономило на духовном кормлении народа (как и на образовании), а потому охотно избавлялось от «избытка» священников; материальное содержание священников в деревне осуществлялось преимущественно за счет общины (наделение земель, плата за требы), соответственно, крестьяне (как и сами священники) были заинтересованы в минимизации численности клира. Последнее позволяло оптимизировать процесс разверстки доходов. Собствен-

но сам Миронов приводит убедительные данные, свидетельствующие о нехватке священников, причетников и особенно дьяконов (с. 649, 654). А мнений прихожан никто не спрашивал.

Автор отмечает, что «нормативное различие между протоиереем, священником, дьяконом и псаломщиком находилось в пропорции 4:3:2:1», а децильный коэффициент самых богатых и самых бедных причтов составлял всего 7 (с. 658). По его мнению, это вполне приемлемое соотношение. Но сами дьяконы и псаломщики считали иначе: в 1917 г. г. они в полном смысле слова восстали против священников, объявив себя «церковным пролетариатом». Кстати, насколько мне известно, после Февральской революции «пролетариями» (гонимыми, униженными, эксплуатируемы-ми) готовы были объявить себя едва ли не все служащие – от «белых воротничков» до полицейских.

К слову о «репероизводстве» священников в дореволюционной России: напомним, что в 1860 г. на одного православного священника приходилось вдвое больше прихожан, чем у католиков; в последующие годы количество священников стало уменьшаться. И если у западных протестантов и российских православных формальное соотношение пастырей и паствы (согласно общей статистике) было примерно равным¹⁴, то надо делать принципиально важную поправку и на российские пространства, и на то, что на Западе служители церкви поголовно имели высшее образование. В этой связи возникает вопрос: как объяснить наличие вакантных должностей для священников и дьяконов (с. 648) и какое количество духовных наставников требовалось, чтобы помочь крестьянину усвоить ценности модернизации. Почему дети сельских священников Нечерноземья в полном смысле бежали в светские университеты, где куда активнее усваивали революционные, а не эволюционные идеи. В принципе, мне ясны ответы на эти вопросы. Да и данные книги Миронова подтверждают, что духовное окормление России совершенно не соответствовало объективным задачам модернизации: отсюда и такое распространение девиантного поведения в священнической среде, и обилие сектантства, и столь выраженный «женский» характер веры (с. 543).

В целом, из представленных Мироновым данных все же видно, что Россия была населена вовсе не «среднестатистическими» персонажами, а российский «модернизационный» процесс неуклонно отдалял город от деревни, образованное общество от низов, власть от народа.

Л.В. Волков: Другие времена – другие проблемы

Б.Н. Миронов придерживается высокого мнения об опыте «модернизации императорской России», считает его «успешным». Однако он не уточняет, что же является критерием этой успешности. Лишь в отношении 1861–1913 гг. Миронов, очевидно, считает, что таким критерием являются темпы экономического развития России, в эти годы сопоставимые с европейскими. Поскольку Россия в области экономики сильно отставала от передовых стран, то, видимо, успешной ее модернизация может быть признана лишь тогда, когда темпы ее экономического развития станут существенно выше, чем в этих странах, что произошло только в советское время. Неправомерным представляется и то, что Миронов берет за одни скобки разные эпохи на протяжении более чем 200 лет. В одни из них развитие России было сравнительно быстрым (время правления Петра I, пореформенное время), в другие значительно более медленным (первая половина XIX в.).

Опыт модернизации императорской России, по мнению Миронова, дает основания для исторического оптимизма. Такой вывод едва ли правомерен, поскольку сейчас перед нашей страной стоят во многом другие проблемы, чем в начале XX в., например, проблемы преодоления депопуляции населения, невосприимчивости нашего бизнеса к инновациям и проч.

В.Б. Жиромская: Пережила ли Россия «демографическую модернизацию»?

Книга Б.Н. Миронова представляет интерес, прежде всего, в концептуальном плане. Автор поставил своей целью рассмотреть процесс модернизации России XIX – начала XX в. через призму совокупности материальных, социальных, биометрических и демографических показателей, которые характеризовали бы благосостояние населения в этот период. Среди этих показателей одним из главнейших он считает рост населения, учитывая просторы России и ее природные богатства. Рост численности населения, пишет автор, был всегда благом для России, и никогда «Россия не попадала в мальтузианскую ловушку» (с. 641). Начиная с реформ Петра I рост населения обеспечивал успех процесса непрерывной глобальной модернизации страны.

Войны и их негативные последствия рассматриваются автором как основное бедствие российского населения. Действительно, негативные последствия войн для населения до сих пор до конца не осмыслены. Они включают не только прямые, косвенные, долгосрочные потери населения, но и наносят огромный ущерб его здоровью, уничтожают множество людей самого репродуктивного и трудоспособного возраста, особенно мужчин. Если вспомнить о преждевременно умерших от последствий боевых ран, о нерожденных детях, о сверхсмертности младенцев, появившихся на свет с ослабленным здоровьем, о вспышках инфекционных и неинфекционных болезней, сопровождающих, как правило, войны, о недоедании, тяжелых бытовых условиях жизни населения, о нервном и физическом напряжении, в котором находились миллионы людей в течение нескольких лет, то жертвы и потери войны возрастут многократно по сравнению с прямыми потерями в боях. Но не только войны сотрясали нашу страну. Огромная убыль населения была сопряжена с политическими и социально-экономическими катаклизмами.

Вопрос о росте численности населения особенно актуален в сегодняшней России, переживающей демографический кризис и депопуляцию. На этой проблеме хотелось бы остановиться подробнее. Известно, и это отмечено в книге, что в начале XX в. демографические показатели были благополучными – увеличилась средняя продолжительность жизни, положительно менялся и биометрический статус населения. На фоне высокой рождаемости начала снижаться смертность. Подобные процессы уже давно развернулись в Европе, и в России наметился тот же путь. Страна органически и на паритетных основаниях вошла в мировую систему. «Модернизация происходила отчасти спонтанно под влиянием потребностей изменений в мире, но, главным образом, целенаправленно» (с. 691). Под модернизацией, насколько я поняла, автор имеет в виду индустриальное развитие страны и научно-технический прогресс, но никак не модернизацию самих демографических процессов.

Весь этот естественный исторический ход событий был прерван факторами экзогенного порядка: социально-политическими катаклизмами и кровопролитными войнами, что отрицательно сказалось, прежде всего, на численности и воспроизводстве населения и привело к обострению демографической ситуации в России, которое стало практически постоянным. Влияние экзогенных факторов изучено еще недостаточно. Проблема остро актуальна, поскольку эти факторы ускорили появление тех негативных моментов, которые и привели Россию к глубокому демографическому кризису. Данный вопрос выходит за хронологические рамки книги Миронова, но он вытекает из ее содержания, практически поставлен автором и требует своего осмысления.

Первая мировая и Гражданская войны оставили глубокий след в истории российского населения, надолго определив его демографическое развитие. По данным С.В. Захарова, людские потери страны в 1916–1921 гг. могут быть исчислены в пределах от 12 до 18,6 млн человек (в зависимости от методики исчисления темпов прироста населения в этот период), по подсчетам Ю.А. Полякова¹⁵, население России в годы Гражданской войны уменьшилось на 11–15 млн человек (включая эмиграцию), в том числе из-за разных инфекционных заболеваний. Военные потери, ослабленное здоровье

истощенных людей, антисанитария, недостаток питания и отопления и проч. привели к тому, что показатель смертности населения возрос, в частности, в Европейской России до 40.9%¹⁶, практически в 1.5–2 раза выше нормы. При этом смертность мужчин была в полтора раза выше, чем женщин. Потери мужского населения и снижение брачности привели к падению рождаемости. В России в конце XIX – начале XX в. показатель рождаемости был равен 50.5%¹⁷, а в 1920 г. его величина колебалась по разным губерниям от 23 до 35%¹⁸. Высокие показатели смертности и в городах, и в селах объяснялись не только военными потерями, хозяйственной разрухой, ухудшением общих условий жизни и питания, но и распространением эпидемических заболеваний: возвратного, брюшного и сыпного тифа, оспы, дизентерии. В 1918 г. от этих заболеваний умерли 116 тыс. человек, 1919 г. – 910 тыс., 1920 г. – свыше 1 млн человек¹⁹.

В результате, в 1920 г., естественный прирост населения был отрицательным. Особенно сильно это проявилось в Иваново-Вознесенской, Костромской, Вятской, Пензенской, Орловской и ряде других губ. Превышение смертности над рождаемостью в годы войны, особенно Гражданской, наблюдалось и в 1917 г. (в Северо-Двинской, Владимирской, Калужской губ.) и в 1919 г. (в Нижегородской, Калужской, Николаевской губ., а также в Карелии).

Не успела отгреметь Гражданская война, как население постигло новое бедствие – голод 1921 г., охвативший обширную территорию. Смертность в связи с этим бедствием оставалась высокой не только в 1921, но и в 1922, и отчасти в 1923 г. Ее показатели намного превосходили довоенный уровень. Особенно большими были людские потери в Поволжье. Так, в пострадавших от голода зонах общий коэффициент смертности составил: в Саратове – более 60%, Казани – 45, Самаре 60.3% и т.д. В ряде городов смертность превысила рождаемость. После окончания Гражданской войны последовал короткий период демографической компенсации. Он охватывал 1925–1928 гг. Однако довоенный уровень рождаемости так и не был достигнут. Демографическая ситуация вновь резко осложнилась в 1930-х гг., когда страна оказалась в состоянии демографического кризиса. Форсированная индустриализация страны и сплошная коллективизация привели к сверхсмертности населения. Положение усугубил голод 1929–1934 гг., пик которого пришелся на 1932–1933 гг. К тому же последовал шквал политических репрессий.

С учетом последних данных от голода 1932–1933 гг. погибло в СССР более 8 млн человек²⁰. Пострадали многие республики СССР, а ныне суверенные государства – Украина, Россия, Казахстан, Беларусь, Молдова (в то время Казахстан входил на правах автономий в РСФСР, а Молдавия – на правах автономии – в УССР). В РСФСР голод охватил обширную территорию: Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, некоторые районы Центрально-Промышленной и Западной областей, Южный Урал, Западную Сибирь, часть Восточной Сибири, Дальний Восток. Значительные потери понесли районы Кубани, Дона и Ставрополя. В Поволжье наиболее высокие показатели смертности фиксировались в Саратовской и Самарской (Куйбышевской) обл., Автономной Республике Немцев Поволжья. От голода пострадало население Сталинградской (Волгоградской), Оренбургской, Пензенской, Курской, Орловской, Ярославской обл. Голод охватывал часть Уральской обл. – территории современных Курганской, юг Свердловской и часть Челябинской обл. В Западно-Сибирском крае – территорию современного Алтайского края, а также юг современной Новосибирской и южную часть Омской обл.

Статистические данные по России показывают в этот период отрицательный прирост населения. Так, отрицательный естественный прирост в 1933 г. составил: в Саратовском крае – 45%, Сталинградском – 18.4, Северо-Кавказском крае – 38.5, Азово-Черноморском – 35.5%²¹. Показатели смертности в 1933 г. были чрезвычайно высоки на территории всей России. Если во второй половине 1920-х гг. они не превышали 27–28%, то в 1933 г. поднялись до 60%, а в некоторых случаях – до 70%²². Крупные очаги людских потерь от голода сохранялись и в 1934 г. Причем отрицательный прирост населения чаще фиксировался именно в городах, где высокая смертность сохранялась

из-за плохого снабжения, антисанитарии, вспышек остроинфекционных заболеваний, на фоне устойчиво более низкой, чем в селе, рождаемости. Демографическая компенсация в городах началась позже и реализовывалась медленнее.

Большую роль в наличии сверхсмертности сыграл травматизм, прежде всего производственный. Причиной его было не только отсутствие квалификации и недостаточность обучения, но и хроническая усталость работников, недосыпание, недоедание, когда люди засыпали за станками или имели замедленную реакцию и рассредоточенное внимание. В 1935 г. на 1 тыс. работников приходилось 75 случаев травм со смертельным исходом, в 1936 г. – 100, т.е. погибал каждый десятый работник. Была высокой младенческая смертность, и не только в голодные годы, но на протяжении всех 1930-х гг. Она составляла 1.2 млн человек. В 1938 г. в России умирал, не дожив до 1 года, каждый пятый новорожденный, а в 1939 г. – каждый четвертый²³.

Людские потери касались не только детских, но и всех возрастных групп населения. В результате в мирные годы (конец 1920-х – вторая половина 1930-х гг.) сверхсмертность в СССР составила более 11 млн человек²⁴, в том числе в РСФСР на протяжении 1930-х гг. (без Казахстана и Киргизии) с учетом новых данных о потерях от голода – более 5 млн человек. В условиях сложной демографической ситуации началась Великая Отечественная война, которая унесла миллионы человеческих жизней. Потери населения составили 26.6 млн человек. Война вырвала из жизни самые детородные, самые перспективные в репродуктивном отношении возрастные группы населения. После ее окончания был нарушен баланс в соотношении полов в пользу женщин еще более, чем в 1930-х гг. Среди лиц 1920–1924 гг. рождения, особенно пострадавших от потерь во время войны, на 100 женщин приходилось всего 63 мужчины. Тяжелым следствием деформации состава населения по полу и в СССР и в РСФСР был не состоявшийся «бэби-бум», охвативший после войны все участвовавшие в ней страны. Дисбаланс полов российскому населению не удалось преодолеть ни в 1960-х, ни в 1970-х гг. Демографические потери 1990-х гг. еще не подсчитаны. Зафиксирован лишь отрицательный естественный прирост населения, начиная с 1992 г. Россия оказалась в состоянии глубокого демографического кризиса, на пороге демографической катастрофы. Возникла угроза необратимой депопуляции населения.

В результате этих многомиллионных людских потерь и падения рождаемости была деформирована возрастная структура населения. Образовалось несколько глубоких демографических ям, начиная с Гражданской войны. Пострадавшими в возрастной пирамиде населения оказались молодые трудоспособные люди репродуктивного возраста, прежде всего мужчины. И даже в настоящее время у нас неоправданно много гибнет мужского населения и в молодом, и в среднем возрасте. Так можно ли весь этот процесс демографического развития России назвать «демографической модернизацией», в том смысле, в каком это употребляется в литературе в настоящее время? Напомним еще раз, что Миронов в своей книге собственно демографические процессы не называет модернизацией, с чем я в принципе согласна.

Довольно широко распространена у нас точка зрения, что Россия, наконец, стала в плане демографического развития в ряд развитых цивилизованных стран, в которых утвердился современный тип воспроизводства населения с преобладанием нуклеарной малодетной семьи, с низкой рождаемостью, высокой средней продолжительностью жизни, внутрисемейным регулированием рождаемости, планированием семьи. Однако во всех западных цивилизациях этот путь занял более 2 столетий, осуществлялся естественно и постепенно. В России прошел чрезвычайно быстро, скачкообразно, сопровождался перерывами, нарушениями в соотношении внутренних стадий, при чрезвычайно высоком давлении экзогенных факторов. Этот «демографический прорыв» был вымученным и происходил он в условиях глубокой диспропорции полов и большого дефицита мужчин; огромных людских потерь; недостатка питания и несколько раз повторявшегося масштабного голода; низкого уровня материального обеспечения, дефицита жилья; ослабленного здоровья населения; высокой смертности, в том числе младенческой и детской. Планирование семьи в этих условиях было скорее

вынужденным, чем закономерным. Вряд ли это можно назвать демографической модернизацией в том смысле, в котором это подчас употребляется в научной, особенно научно-популярной литературе.

Безусловно, экономика России переживала в XX в. подъем, и если рассматривать этот процесс в предложенном Мироновым ракурсе, то видно, что эта модернизация происходила, прежде всего, за счет благосостояния населения, снижения его биометрических показателей, что нашло отражение в падении численности населения. Демографический потенциал российского населения, несмотря на современный кризис, еще не исчерпан. Говорить о необратимом процессе депопуляции нет оснований. Сейчас, как никогда, Россия нуждается в активной демографической политике. В настоящее время разработана правительственная демографическая программа. Важно, чтобы она не приняла характера краткосрочной кампании. Миронов в своей книге особенно подчеркивает традиционно большую роль российского государства в решении жизненно важных для населения проблем.

Российская модернизация: историческая антропометрия и уровень жизни

С.В. Куликов: Россия, какой она была

Б.Н. Миронов убедительно доказал, что в условиях наблюдающегося в период империи дефицита надежной статистической информации только антропометрические данные, конечно, в сочетании с другими массовыми источниками, способны дать объективный критерий для изучения благосостояния населения. Как показано в монографии, остальные источники либо неполны (сведения о ценах, зарплате, доходах), либо, так или иначе, субъективны (некоторые сельскохозяйственные переписи или, классический пример, литературные и мемуарные сочинения).

Антропометрический фундамент, заложенный Мироновым под концепцию перманентного прогрессивного развития Российской империи, на мой взгляд, представляет собой столь прочное «фортификационное» сооружение, что его выводы о мифичности системного кризиса в дореволюционной России, о реальности постепенного повышения благосостояния ее населения и, в конечном счете, об отсутствии объективных, социально-экономических причин для революции 1917 г. вряд ли смогут быть убедительно оспорены в обозримом будущем. В этом смысле монография Миронова является поворотным пунктом в отечественной историографии.

Пусть это кому-то покажется преувеличением, но в данном случае можно сказать: как некогда Н.М. Карамзин открыл современникам древнюю историю России, так и Миронов (после благополучной кончины постмодернизма) открывает нам дореволюционную Россию такой, какой она была на самом деле. Необходимо отметить и то, что Миронов открывает читателю новую «старую» Россию без излишней публицистичности и назойливой апологетики. Он говорит языком беспристрастных цифр и фактов, пытаясь понять, не плача и не смеясь (по рецепту Б. Спинозы), без идеологического шулерства и наклеивания ярлыков, чем грешат некоторые оппоненты Миронова.

М.А. Давыдов: Объективный процесс большого масштаба обязательно отразится в массовых источниках

То, что Б.Н. Миронов впервые осмысливает историю России в новом для нашей историографии ракурсе, используя в качестве базового показателя данные о биостатусе населения, на мой взгляд, можно приветствовать по многим причинам. Для меня лично эта монография очень важна, в частности и потому, что закрепляет подходы к нашей истории, отличные от традиционных. Я согласен с большинством общих и частных

наблюдений и выводов, сделанных в монографии Миронова (второ- и третьестепенные разногласия не в счет). Много лет я занимаюсь проблемами, прямо или близко связанными с вопросами, касающимися потребления как пищевых продуктов, так и промышленных изделий в предвоенные 25 лет, в том числе источниковедческими аспектами их изучения, и мои собственные выводы весьма близки к заключениям Миронова.

Я солидарен с теми историками, которые не считают практически возможным, опираясь на недостоверную сельскохозяйственную статистику²⁵, к тому же пристрастно интерпретируемую, дать объективную оценку уровня жизни каждого из многих десятков миллионов человек, обитавших на пятой части суши от Тихого океана до Бессарабии и от Архангельска до Карса, где уже в 1897 г. насчитывалось 591.1 тыс. сельских поселений и несколько сотен городов²⁶. Эти люди вели разную, иногда очень разную жизнь, даже если жили по соседству, а то и в одном селе. А средние показатели убеждают далеко не всегда. Тем не менее нельзя сомневаться в том, что если в стране происходит объективный процесс большого масштаба, то он обязательно отразится в различных массовых источниках, используемых при этом не как собрание чьих-либо сочинений, а подвергаемых добротному источниковедческому исследованию. Измеряемый Мироновым биостатус жителей Российской империи как раз является таким интегральным показателем, который позволяет суммировать сложнейшие процессы (иногда неясные), определявшие процесс потребления населения в нашей стране в рассматриваемый период.

В.П. Булдаков: Важно не то, сколько мяса у человека во щах, а что он думает при этом

Научной общественности предложено «первое в мировой историографии исследование по исторической антропометрии в России» (с. 21). В чем суть сделанного Мироновым «открытия»? Оказывается, что если среднестатистический рост населения неуклонно возрастал, то соответственно росло и его благосостояние. Если так, то революции можно отнести к досадным случайностям. Чтобы автора приняли всерьез, он не преминул заявить, что ему потребовалось 8 лет работы, при этом были проанализированы данные о более чем 10 млн новобранцев, призванных в русскую армию в 1874–1913 гг. И это впечатляет. Мне уже приходилось возражать по поводу «антропометрических» приемов Миронова²⁷. На мой взгляд, они аморальны: к истории людей нельзя подходить как к истории скотов, набирающих или теряющих вес под наблюдением правительственных зоотехников. Тем не менее Миронов убежден, что «индекс человеческого развития», который учитывает 3 показателя – долголетие, уровень образования и валовой внутренний продукт, – дает ключ к переосмыслению российской истории. Однако фактически он оперирует лишь одним «интегративным» показателем – «дефинитивной длиной тела». Хочется спросить, неужели Миронов всерьез верит, что созерцание собственных быстрорастущих органов в зеркале правительственной статистики способно сделать людей довольными и счастливыми?

Вообще-то важно не то, сколько мяса у человека во щах, а что он думает при этом. Современные исследователи связывают изменения в росте населения не с одной лишь сытостью, что признал (с. 135–138) и о чем тут же забыл сам Миронов. Должно быть, он руководствуется какой-то особой логикой, которой «человеческая» история просто мешает. Миронов отмечает такие индикаторы «роста благосостояния», как потребление алкоголя и неуклонное увеличение числа праздничных и нерабочих дней (гл. XI). Но разве не следует отнести эти явления к социокультурным последствиям крепостничества, отучившим людей работать иначе, как из-под палки? Увы, Миронов прямо по-детски радуется росту расходов населения на спиртное – богатеет народ и казне прибыль! (с. 544). Опираясь на свидетельства удачливого хозяина и известного поэта А.А. Фета, он берется даже утверждать, что «рациональный и умный» крестьянин продуманно избегался от «избыточных» доходов, расходуя их на водку (с. 564–565). Вообще-то

феномен российского пития трудно интерпретировать иначе, как результат господства принудиловки, чудовишно деформировавшей трудовую мотивацию. Однако Миронов склонен воспевать по-своему понимаемую «моральную экономику» крестьянства (сам термин им не используется, должно быть по причине его «народнического» звучания). Спрашивается, уместно ли считать моральным (по любой нравственной шкале) то, что сопряжено с праздно-алкоголизацией? А как быть с имущественной дифференциацией, специфически сказавшейся на темпах возлияний селян? Миронова подобные сомнения волнуют. К тому же он (вслед за бывшими крепостными) проявляет поразительную индифферентность (вопреки заявленным принципам) к образовательному уровню населения – той самой проблеме, которую в пореформенное время общественность воспринимала чрезвычайно остро (с. 583). Заметим, что отмена крепостничества в Европе также обернулась упадком крестьянского производства. Однако там ко времени освобождения русских крестьян выход был найден – прогресс образования помог возродить производительные силы деревни. Напротив, власть в России так «сэкономила» на образовании, что невольно подтолкнула аграрную революцию.

Г. Фриз: «Фома неверующий» всегда найдет основания для сомнений

Исследование Б.Н. Миронова отличается не только эмпирической полнотой, но и методологической утонченностью. Автор использовал комплекс количественных методов, чтобы восполнить пробелы и исправить недостатки в имеющихся данных, произвести необходимые корректировки и таким образом суметь избежать искажений, заложенных в источниках (например, учесть изменения в ростовом цензе). В своем анализе он полагается прежде всего на то, что в специальной литературе называется «истинным средним ростом». При этом он предупреждает историков, не знакомых с количественными методами, что истинный средний рост не следует путать с «действительным, или фактическим, средним ростом новобранцев». Истинный рост – это скорее «теоретическая оценка роста», которая принимает во внимание различные показатели, которые влияют на длину тела, – возраст, социальный статус и т.д. – и дает возможность оценить изменения роста в чистом виде. Огромное число таблиц, снабженных сведениями об объеме выборки и пределах погрешности, позволяют читателю проследить за сложными и тщательными расчетами изменения благосостояния населения в имперской России.

На мой взгляд, исследование огромного массива данных с помощью тонких математико-статистических методов убедительно свидетельствует о том, что уровень жизни в имперской России в целом повышался, хотя его изменения имели циклическую природу. В некоторые периоды (1701–1730, 1751–1795 и 1856–1865 гг.) имело место снижение «биостатуса» (что проявлялось в снижении роста). Однако в целом средний рост мужского населения имел четко выраженную тенденцию к увеличению (от 164,8 до 169 см), причем особенно впечатляющий прогресс наступил после Великих реформ 1860-х гг. Увеличение длины тела наблюдалось в общенациональном масштабе, при этом различия в среднем росте населения между разными губерниями и регионами сокращались. Миронов также рассчитал «индекс человеческого развития» (ИЧР) – метод, принятый ООН в 1990 г. для измерения уровня развития отдельных стран, который учитывает не только валовой внутренний продукт на душу населения, но также продолжительность жизни и уровень образования. Опираясь на этот показатель, автор демонстрирует, что в России наблюдался значительный прогресс, так как ее ИЧР вырос с 0,188 в 1851–1860 гг. до 0,326 в 1911–1914 гг.

Однако «Фома неверующий» всегда найдет основания для сомнений. Одна ключевая проблема, которая фактически явилась побудительным мотивом проекта использования антропометрических сведений для оценки уровня жизни, заключается в ненадежности и неполноте имеющихся данных, традиционно используемых при оценке

благополучия. Однако антропометрические данные в ряде случаев не являются идеальными вследствие того, что, как показывает автор, измерения отнюдь не отличались безупречностью. Есть основания полагать, что общины и помещики в дореформенную эпоху стремились отдать в рекруты слабых и худых, а не рослых и здоровых парней, лучше приспособленных к полевым работам. Чтобы нивелировать искажения в первичных данных, Миронов использует сложные математические методы (к примеру, метод устранения «округления» – с. 105) или смело прибегает к интерполяциям (например, при расчетах по конвертации национального дохода в валовой внутренний продукт используется 10-процентная поправка – с. 283–285). Автор сделал все возможное, чтобы критически оценить информационную ценность источника, идентифицировать и сгладить возможные искажения. Однако сомнения остаются. Учитывая несовершенство российской администрации (ее некомпетентность, продажность и малочисленность), желание и наличие мотивов скрыть истинную картину (как «дело чести» – с. 282), некоторые историки считают рискованным делом строить детально разработанные и масштабные расчеты на таких данных. Хотя автор четко и ясно систематизировал самые разные сведения и обработал их в высшей степени критически, читатели могут испытать некоторый дискомфорт от оценок с точностью до трех десятичных знаков. Это особенно справедливо для начала XVIII в., где выборка мала – 307 наблюдений для 1701–1705 гг. (с. 102). Наконец, в некоторых случаях данные неполны, например, для такой важной переменной, как этничность (с. 161). Как бы там ни было, независимо от того, насколько совершенными являются статистические методы и насколько логичны предположения, сделанные в целях повышения качества используемых данных, проблема их надежности окончательно не снимается.

Можно также поставить вопрос и о репрезентативности антропометрических данных. С одной стороны, не вполне ясно, каким способом были выбраны из генеральной совокупности сведения о 305 949 индивидуумах: применялась ли случайная выборка, основанная на таблице случайных чисел, или пропорциональная выборка. Метод составления выборки очень важно принимать во внимание даже тогда, когда выборка большая, а пределы погрешности невелики, чтобы избежать искажений, связанных с конфигурацией и классификацией архивных дел. Более того, при всей важности определения основной тенденции в динамике уровня жизни существенно знать, на какие группы населения распространяется вывод. Чтобы не пасть жертвой «мифа средних величин» (когда среднее не соответствует ни одному единичному случаю и скрывает широкие расхождения и вариации), необходимо учесть распределение доходов. Хотя в заключении автор приводит расчеты коэффициента имущественного неравенства Джини и децильного коэффициента неравенства (с. 655–657), которые показывают, что неравенство в доходах было относительно невелико, читателю, тем не менее, приходится задумываться о том, как неравенство в доходах влияло на биостатус и жизненный уровень.

Биологическая теория, которая лежит в основе проекта, также вызывает некоторые сомнения. В конце концов, биологические науки все еще находятся в стадии бурного развития. То, что сегодня является «само собой разумеющимся», завтра подвергается радикальному пересмотру или даже отвергается. Автор опирается на внушительное число недавно изданных работ по биологии человека и их использованию в исторической антропометрии. Хотя основные предположения (о соотношении генетики и внешней среды, и критических возрастах для длины тела при развитии человека) и верны, неопиту все равно придется задуматься о том, насколько эти основные положения (заимствованные в основном из исследований по западным обществам) применимы к другим культурам. Следует также принять во внимание, что, хотя большинство исследователей объясняет улучшение физических кондиций человека повышением уровня жизни, имеются альтернативные концепции – о влиянии на рост здравоохранения, глобального изменения климата, межэтнических браков (теория гетерозиса) и увеличения потока впечатлений (нейрогенная гипотеза) (с. 92–94). Можно предположить, что указанные факторы, по отдельности или вместе, могут в некоторых случаях перевесить

влияние жизненного уровня, тем более что генетика обуславливает 85% человеческого развития.

Поставленные выше вопросы требуют главным образом прояснения и не ставят под сомнение основной эмпирически обоснованный вывод – повышение уровня жизни в имперской России действительно имело место и нашло отражение в увеличении роста мужского населения.

О.Н. Катионов: Исключать реальную биологическую закономерность колебаний роста нельзя

Б.Н. Мионов – явно не последователь парадигмы кризиса и пауперизации российского общества, господствовавшей последние сто лет в русской и советской историографии. Он сторонник в настоящее время набирающего силу направления в историографии – исследования и описания постоянного роста экономики и хозяйства населения России.

Критериями оценки постоянного улучшения жизни населения России являются традиционные показатели благосостояния: зарплата, цены, доходы, рента, собственность, бюджет, потребление, национальный доход, уровень неравенства. И здесь отечественные и зарубежные исследователи, по оценке Мионова, достигли определенного предела. Сведения разнятся, где-то неполны, не охватывают всего комплекса показателей, подвергаются критике. Использование диалектического подхода от частного к общему дало возможность Мионову досконально разобраться в позициях представителей разных общественных направлений по оценке состояния России и крестьянства в уровне развития страны и социальных групп. Умело подобранные цитаты из их работ, выводы, подкрепляемые конкретными историографическими источниками, ставят уровень написанной главы по историографии на ступень классического учебного пособия, которое можно рекомендовать студентам и аспирантам исторических факультетов (с соответствующей методической доработкой).

Как итог историографических изысканий формулируется вывод о необходимости введения в процесс исследования уровня благосостояния в российской истории комплекса антропометрических данных (прежде всего дефинитивного роста человека), «которые с 1968 г. плодотворно используются для этой цели в разных странах» (с. 56).

Каковы же аргументы в пользу антропометрических данных? 1. Наличие массовых антропометрических показателей, позволивших построить единый однородный динамический ряд дефинитивного роста мужского населения по России в целом и по основным ее регионам за 300 лет (1701–2007 гг.) и на основании его сделать оценку изменения благосостояния населения России за весь этот период. 2. Антропометрические данные позволили оценить биологический статус людей – баланс между потреблением и расходом энергии, чего ни бюджет, ни зарплата, ни доход не учитывают. 3. Универсальность и элементарность антропометрических данных позволяет использовать метод сравнения в разные годы у разных социальных групп или стран. Т.е. рост как самый простой и точный показатель сравнительно с другими индикаторами уровня жизни и как самый надежный при определении тенденции в изменении уровня жизни населения, которое большую часть дохода тратит на поддержание биологического статуса жизни.

Однако обосновывая свою точку зрения на значение антропометрических данных, Мионов возвращается к необходимости использования их в комплексе с традиционными показателями для получения более полной и достоверной картины изменения благосостояния населения России (с. 57). И это радует, иначе пришлось бы многим исследователям в силу отсутствия антропометрических данных, полученных через использование матметодов, отказаться от традиционных эмпирических данных и выводов, сделанных на их основе по уровню благосостояния тех или иных социальных

групп. Метод наблюдения в жизнедеятельности людей имеет место, и эти взгляды находят отражение в устной истории, в публицистике, в литературе и т.п.

Историческая антропометрия связана напрямую с приобретенной в 70-х гг. XX в. статус новой научной дисциплины ауксологией человека. Предметом ее являются, во-первых, рост как отражение уровня жизни и стандартов потребления для социальных групп и целых популяций, во-вторых, закономерности ростового процесса у отдельных индивидов, групп и популяций и, в-третьих, составление оценочных стандартов для решения отдельных практических задач, как то: выявление и лечение ростовых нарушений, производство одежды и др. По мнению Миронова, историческую антропометрию интересуют все 3 аспекта, но больше всего первый, позволяющий ответить на принципиальный вопрос: как изменялось благосостояние населения в исторической перспективе и какова была роль в этом процессе социального, экономического, культурного, экологического, гендерного, генетического факторов.

Миронов сделал мощный шаг в новом направлении исторической науки – исторической антропометрии. Не просто обозначил и актуализировал, а провел системное исследование в заданном направлении. Этот шаг дает возможность последователям ученого направить свои усилия по региональной исторической антропометрии. Благо, алгоритм такого исследования представлен в главе 8 монографии на примере Саратовской губ. Однако не будем забывать и археологов с этнографами. Русских кладбищ XVIII–XX вв. хватит для тотальных исследований в этой области. Другой вопрос, как скоро этот исследовательский процесс будет завершен. Но если метод выборки по рекрутам был не всеобъемлющим для населения России, то археологические исследования тоже возможно проводить методом выборки.

В теоретическом блоке основ исторической антропометрии автором установлены следующие параметры: тело человека как показатель уровня жизни; энергетический (пищевой, биологический) статус; различия в росте между популяциями; необходимость изучения динамики уровня жизни и неравенства по ростовым данным; секулярный тренд: увеличение размеров тела и ускорение физического развития; догоняющее или наверстывающее развитие, стресс, пубертатный скачок; индекс массы тела, масса тела новорожденного, возраст менархе (время появления первой менструации, зависящее от питания, социально-гигиенических и других условий жизни).

Создается впечатление, что здесь сплошная физиология. Не хватает только понятия акселеративных скачков, выделяемых физиологами в разные исторические периоды, хотя Миронов и этот аспект не обошел вниманием. Но и физиологи не отрицают социальных влияний на рост человека. В учебнике для студентов «Возрастная анатомия, физиология и безопасность жизнедеятельности» (авторы Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман, Я.Л. Завьялова и В.М. Ширшова. Новосибирск, 2009), как само собой разумеющееся, отмечаются отклонения в подростковом возрасте, которые относят к двум основным типам – акселерации и ретардации. Под акселерацией понимают ускорение, а под ретардацией – задержку физического, психического, социального развития и формирования отдельных функциональных систем организма детей и подростков. Термин «акселерация» употребляется в основном в двух значениях: акселерация эпохальная и внутригрупповая. Эпохальная акселерация означает ускорение физического развития детей и подростков в сравнении с предшествующими поколениями. При массовых исследованиях физического развития детей различного возраста выявлено, что показатели многих функциональных систем современных детей и подростков значительно превышают таковые у детей 30–50 лет назад. Длина тела у новорожденных за это время увеличилась на 2–2.5 см, а их масса – на 0.5 кг; у 15-летних соответственно – на 6–10 см и 3–10 кг. Сократилась продолжительность роста: в настоящее время рост девушек и юношей в среднем заканчивается к 16–19 годам, а 50 лет назад люди достигали максимального роста в возрасте 25–26 лет.

Чтение учебника возрастной анатомии наталкивает на мысль, а были ли акселеративные волны в XVIII–XIX вв.? И выводы об увеличении роста в эти 220 лет могли быть обусловлены не только улучшением материального (биологического) статуса

населения, а общей акселеративной закономерностью с ее волнами. Биологические механизмы акселерации пока не выявлены. Выдвигается много различных гипотез о ее причинах. Наиболее существенные из них: широкая миграция населения и связанное с ней увеличение количества смешанных браков; урбанизация населения (увеличение городского населения) и стимулирующее влияние условий городской жизни на темпы физического развития; увеличение уровня радиации; улучшение социальных условий жизни населения промышленно развитых стран.

В периоде, исследуемом Мироновым, эти причины не были столь важными. Поэтому акселеративные факторы можно и не принимать во внимание, но исключать реальную биологическую закономерность совершенно невозможно. Тем более, как отмечают биологи, в литературе последних лет есть сообщения о том, что процесс акселерации приостанавливается, а факторы-то остались. При этом отметим, что причины возникновения акселерации в большинстве своем – социальные. Следовательно, в исторической антропометрии появился еще один компонент, влияющий на показатель роста, о котором автор монографии также упоминает.

П.П. Щербинин: Необходим системный анализ исторических свидетельств

Конечно, Б.Н. Миронов совершил прорыв, «рассмотрев» с совершенно нового антропометрического ракурса процессы и биологический статус населения Российской империи, однако исторические реалии были гораздо разнообразнее, чем вполне убедительные математические выкладки, да и повседневно-бытовые реалии и социально-психологические характеристики населения не могут и вероятно не должны становиться моделью механических подсчетов. Методология Миронова оригинальна и нова, но она не может дать ответы на большинство возникающих вопросов, а также убедить, что биостатус и уровень потребления населения неуклонно развивались, несмотря на почти непрерывающуюся военную активность России, социальные и природные катаклизмы.

Более десятка лет я являлся активным сторонником формирования электронных баз данных о влиянии военного фактора на повседневную жизнь населения провинциальной России. Совместно с моими аспирантами были наполнены (на основе первичного архивного материала, периодической печати, воспоминаний современников, статистических и законодательных материалов) электронные базы данных о рекрутских наборах, отставных солдатах, сборе пожертвований, постоянной повинности и другим проявлениям воздействия военного фактора на провинциальное тыловое население Российской империи. Однако собственно базы данных не позволяют охватить «детали» и «особенности» проявлений жизни различных социальных групп и слоев. Они дают возможность лишь «увидеть и оценить» типичные и атипичные тенденции, общие и системные проявления, но все же каждая российская семья и отдельные представители и представительницы российского социума имели неповторимую, самобытную, индивидуальную историю своего бытия и не способны быть лишь категориями статистического учета и систематизации. Поясню, что я не призываю отказаться от макроисторических исследований и обобщений, а повернуться лишь к микроисторическим методикам, истории частной жизни, гендерным и другим направлениям изучения исторических источников. Вероятно, речь должна идти о комплексном, системном, многофакторном анализе исторических свидетельств, которые всегда дают «зазор» между научной гипотезой и результатами исследования.

В работе Миронова очень важное значение имеет предметный указатель, но именно он дает возможность убедиться в недоучете автором военного фактора и собственно войн XVIII – начала XX в. Так, если на с. 255–258 автор приводит данные о понижении уровня жизни и тяготах военного времени, то все же непонятной остается мотивировка и выводы о биологическом статусе населения. Приведенные цифры не

позволяют оценить влияние войн на динамику биологического статуса податного населения. К сожалению, малозаметными и не оказывающими серьезного воздействия на социально-демографические, сословно-бытовые, повседневные реалии населения оказались Крымская 1853–1856 гг. и русско-турецкая 1877–1878 гг. войны, которые тяжелым бременем ложились на плечи населения страны (см. работы А.И. Шепарнева, Е.В. Выжимова, Л.Т. Мягкоход и др.). Более того, катастрофические последствия русско-японской войны 1904–1905 гг. для населения тыловых регионов России (блокада военными перевозками железных дорог, что приводило к коллапсу торговых отношений, введение таксирования продовольствия в городах, первые сравнительно массовые призывы запасных нижних чинов, которые нередко являлись единственными «кормильцами» своих семей и проч.) оказались вне поля зрения Миронова. Между тем в отечественной историографии опубликованы десятки работ о тяжелейших последствиях для экономики и населения русской провинции последствий «дальневосточной бойни». Что же касается тотального воздействия на общество и различные слои населения Первой мировой войны 1914–1918 гг., то хотя здесь Миронов признает, что произошло понижение биостатуса населения России, однако совершенно не учитывает новейших достижений отечественных историков по изучению военной повседневности городского и сельского социума, женщин, детей, беженцев и других категорий населения Российской империи (работы О.С. Поршневой, С.А. Есикова, Т.А. Андреевой, Т.Я. Иконниковой и др.). В данном контексте учет лишь антропометрических «замеров» и обобщений по потреблению населения столичных регионов не может служить реконструкцией для выводов по всей России и индикации общероссийских показателей.

Другое обстоятельство, на которое мне бы хотелось обратить внимание, касается использования работ зарубежных историков, в том числе англо- и немецкоязычных, которые рассматривали влияние военных призывов на экономические и социальные процессы в Российской империи. В недавно защищенной диссертации и опубликованной монографии профессора В. Бенекке особое внимание уделено военному браку и заболеваемости призывников и солдат²⁸. Работы американского профессора Э.К. Виртшафтер дают возможность оценить влияние военных на социальные структуры Российской империи²⁹.

Замечу также, что лишь антропологические, антропометрические показатели и физические данные и прежде нередко служили для исследователей, а нередко и для политиков мерилом для доказательств определенных концепций и теорий. Так, антропологическая гипотеза происхождения и развития проституции была весьма популярна среди ряда врачей и общественных деятелей России в начале XX в. и настаивала на существовании женщин, генетически обреченных на постоянное провоцирование проституции³⁰. Криминальная антропология Ч. Ламброзо, расистские теории фашизма также во многом основывались на антропологических показателях. Представляется, что использование сугубо математических обчетов и выявление вполне ожидаемых закономерностей при использовании антропометрических показателей для выявления причинно-следственных связей, либо динамики экономических и социальных индикаторов, не может быть единственно верным и надежным источником исторического знания. Необходимо привлекать самые разные, в том числе и другие массовые исторические свидетельства, например земские обследования нуждемости и т.п.

Необходимо учитывать, что оценка физического здоровья и роста рекрутов весьма различилась по губерниям. Несмотря на частые изменения, огромное количество рекрутов отстранялось от службы по причине плохого здоровья. По данным Рекрутского комитета (1848 г.) можно проследить, что за последние 4 набора очень небольшое число мужчин от 20 до 35 лет оказались годными к службе в армии: из 100 тыс. рекрутов 34 тыс. были отвергнуты по причине малого роста, 20 тыс. из-за хронических заболеваний и 31 тыс. по физическим недостаткам. Цифры по седьмому частному набору в 1847 г. указывают на то, что около 32% государственных крестьян, подлежащих при-

званию, оказались негодными по причине недостаточного роста или другим физическим недостаткам³¹.

Что касается роста рекрутов, то часто он был недостаточным для призыва. По этой причине в частности в Тамбовской губ. забраковывалось около 43.1% рекрутов³². Эта цифра была самой большой в России. Так, в рекрутский набор 1849 г. из всего числа забракованных рекрутов (1 737 человек) 761 человек (44%) оказался негодными из-за малого роста³³. Очень часто оказывалось, что зажиточные семьи, имевшие по 5–6 работников, не могли исполнять рекрутскую повинность по причине природной «малорослости», и в рекруты забирали мужчин из меньших семей. Иногда забирали и единственного работника. Кроме того, в России была очень острой проблема собственно неточного составления рекрутских списков. Так, в 1828 г. тамбовский губернатор писал в отчете, что в казенной деревне «человек показан в очередных списках умершим, а находился живым или написанный имеющий болезнь или повреждение в теле, оказывался здоровым»³⁴. Это было обычным явлением не только для Тамбовской губ., но и для всей России.

При проведении медицинских освидетельствований новобранцев нередкими были случаи злоупотреблений и коррупции. Так, после жалобы жителей Тамбовского уезда на неправильное предоставление воинским присутствием отсрочки 14 призывникам в 1880 г. последние были вызваны на переосвидетельствование и 12 из них оказались годными к строевой службе. Встревоженный такими данными тамбовский губернатор приказал переосвидетельствовать всех освобожденных от службы по состоянию здоровья новобранцев. В результате выяснилось, что из 261 человека вполне годными к службе оказались 140³⁵. В этом смысле, следует осторожно относиться к данным по медицинским освидетельствованиям новобранцев, которые могут быть приняты во внимание при анализе антропометрических данных.

Л.В. Волков: Остаются сомнения

Нельзя не согласиться с Б.Н. Мироновым, что длина человеческого тела жителей определенной страны в большой мере отражает уровень их благосостояния. Можно согласиться, что в целом «благосостояние российских граждан» с самого конца XVIII в. повышалось. Думается, обоснован вывод Миронова, что эпохи радикальных реформ (эпоха правления Петра I, 1860-е гг.) – время снижения благосостояния населения, хотя в дальнейшем реформы должны были благоприятным образом сказываться на жизни людей. Но возникает вопрос, насколько точны приводимые автором сведения. В достаточной достоверности, по крайней мере, некоторых из них можно усомниться. Так, автор делает вывод, что введение в России подушной подати привело «к уменьшению общего налогового бремени», обосновывая его ссылкой на увеличения роста российских мужчин в 1730–1740-х гг. Но так ли точны данные о росте россиян в начале и середине XVIII в., чтобы на их основании делать такой ответственный вывод?

Любопытно, что если рост крестьян в 1731–1750 гг. увеличился на 0.8 см, а мещан на 1.8 см по сравнению с 1701–1730 гг., то рост духовных лиц за это время уменьшился на 4.8 см. Вообще рост последних изменялся каким-то удивительным образом. В 1731–1750 гг. они были значительно ниже крестьян и мещан, а в 1851–1860 гг. – значительно выше. Сопоставляя их рост с ростом крестьян и мещан только в это десятилетие, Миронов делает вывод, что в первой половине XIX в., которую он считает периодом «расцвета сословной системы» (правильнее, очевидно, относить такой период к XVIII в.), «различия в росте мужчин, принадлежавших к разным социальным группам, достигли своего максимума – 5.5 см». Но, во-первых, антиподами крестьян были дворяне, а не духовные лица, а, во-вторых, рост духовенства «колебнулся» и после крестьянской реформы, и в 1861–1900 гг. они стали более низкорослыми, чем крестьяне в 1901–1917 гг. (данные о росте крестьян в 1861–1900 гг. и духовенства в 1901–1917 гг. не приводятся). Такого рода колебания следовало бы объяснить.

Был ли системный кризис? О причинах российских революций

И.В. Поткина: Последнюю точку в дискуссии ставить рано

К числу самых неоднозначных и дискуссионных тем, затронутых в монографии, относится проблема, вернее даже концепция «кризиса самодержавия». Еще совсем недавно она являлась господствующей в советской историографии и представляла собою нечто вроде стройного монолита в его классических формах. В настоящее время дружное единство историков некоторым образом поколеблено, поскольку был накоплен и обобщен новый фактический материал, не укладывающийся в рамки данной концепции. Тема кризиса самодержавия накануне революции 1917 г. так или иначе затрагивается в достаточно большом количестве работ российских и зарубежных специалистов, занимающихся не только политической историей. Однако оказалось, что далеко не все вкладывают в это одно и то же содержание, что отмечалось современными исследователями. Обозначившийся разноречивостью точек зрения и подходов обусловлен не только терминологической несогласованностью, но и тем материалом, с которым работает исследователь.

Понять позицию Миронова в данном вопросе можно только прояснив его отношение к содержанию термина «системный кризис», который в последнее время стал все чаще заменять словосочетание «кризис самодержавия». Попутно заметим, что смысловое значение системного кризиса также зависит от контекста исследуемой проблемы. Политический, социально-экономический, финансовый или банковский – эти кризисы изучаются каждый по отдельности и нередко обозначаются авторами как системные. Одновременно существует определение, обобщающее характеристики состояния всех названных подсистем как единого целого. В последнем случае «системный кризис» уже означает процесс, или состояние, или фазу исторического развития определенной общности (национальной, региональной, мировой), взятой в совокупности и взаимодействии всех своих структур (экономических, социальных, политических, культурных) и институтов. При этом подчеркивается, что функционирование ее становится затруднительным, и общественная система не только не способна адекватно реагировать на вызовы современности, но и не может преодолеть кризис на основе собственных ресурсов.

Отметим, что Миронов придерживается последнего определения (с. 689). Более того, структура и содержание главы XII свидетельствует о том, что автор последовательно разбирает, опираясь на исторический материал, смысловые компоненты определения. Другим словами, рассматриваются статистически измеряемые социально-экономические, политические, культурно-образовательные показатели, которые недвусмысленно свидетельствуют или не свидетельствуют о кризисном состоянии общества применительно к России рубежа XIX–XX вв. К ним относятся данные о ВВП, росте доходов, имущественном неравенстве, о воспроизводстве элиты, уровне образования и грамотности населения.

Начав свое исследование как историко-антропометрическое, Миронов через анализ целого ряда сопутствующих вопросов, которые в большинстве случаев неоднозначно трактуются специалистами, в итоге подступает к решению одной из самых спорных и до сих пор злободневных проблем русской истории – к причинам революций, круто изменившим пути развития нашей страны в XX в. Сразу отмечу, что автор высвободился из пут традиционной марксистско-ленинской интерпретации событий, что до сих пор сохраняется во многих работах историков. В немалой степени этим обусловлено неприятие позиции Миронова. Тема политических потрясений 1917 г. не является новой для исследователя; она подспудно проходит через все разделы двухтомника «Социальная история России периода империи» (1999 г.). 10 лет назад Миронов, на мой взгляд, убедительно показал незавершенность социальной модернизации России. Последнее обстоятельство, рассматриваемое ученым как многоаспектный и взаимозависимый

процесс, усугубило к началу XX в. нестабильность общества и напряженность в стране. В новой его монографии проблема причин революций уже вынесена в заключительный раздел. Представляется, что обе книги Миронова надо воспринимать как единое целое, во всяком случае, монография 2010 г. опирается, в том числе и на результаты исследования 1999 г., а выводы в ней формулируются с учетом проделанного ранее, о чем не раз говорит сам автор.

«Революции начала XX в., – пишет исследователь, – были обусловлены не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами, в том числе блестящей PR-активностью противников монархии. Лидером, вдохновителем и организатором революционных действий выступила либерально-радикальная интеллигенция, а народ был вовлечен в них умелой агитацией и пропагандой по двум причинам: без народной поддержки общественность не имела сил низвергнуть монархию и удержаться у власти, участие народа обеспечило легитимность свержения» (с. 674). На протяжении всей книги автор целенаправленно подводит читателя к этому умозаключению, все время добавляя новые аргументы и свидетельства из источников. Миронову удалось показать и доказать наличие такой мощной компоненты в общем стечении объективных и субъективных обстоятельств и причин российских революций начала XX в. Отмахиваться от этого бессмысленно, поскольку в распоряжении исследователей имеется массив источников, позволяющих в подобном ракурсе интерпретировать события. И все-таки, несмотря на убедительность всех аргументов Миронова, последнюю точку в проблеме причин революции ставить еще рано. Настолько это сложная и запутанная тема, настолько в ней реальность срослась с мифотворчеством и удобными идеологемами, что потребуется еще немало времени и немало конкретно-исторических трудов, которые пролили бы свет на недостаточно изученные сейчас явления и факты жизни Российской империи в последние годы перед социально-политической катастрофой 1917 г.

Н.А. Иванова: Ученый рубит сук, на котором сидит

В чем Миронов последователен, так это в отрицании объективной основы как реформы 1861 г. (с. 352), так и русских революций, в абсолютизации субъективного фактора, в завышении уровня социально-экономического и политического развития страны, в сглаживании существовавших в ней противоречий, в стремлении всячески уравнивать Россию со странами Запада. При этом он игнорирует то обстоятельство, что Россия и эти страны находились на различных ступенях исторического развития. В то время как западные государства после своих буржуазных революций превратились в индустриальные державы, Россия в XIX – начале XX в. находилась на стадии перехода от традиционного к индустриальному обществу.

В России при сравнительно быстром развитии промышленности и железнодорожного транспорта в пореформенный период аграрный сектор экономики оставался отсталым как с точки зрения технического оснащения (некоторые специалисты считают, что промышленный переворот в сельском хозяйстве России завершился лишь в 60-х гг. XX в.), так и сохранения традиционных форм и отношений в деревне (сословная обособленность крестьян, надельное землевладение с массой правовых ограничений, община, натуральный и потребительский характер хозяйства, семейно-трудовая этика, адаптация к рыночной экономике на этой традиционной основе, особая система управления сельским населением и т.д.). Нет никаких оснований утверждать, как это делает Миронов, что сельское хозяйство в России прогрессировало так же быстро, как в Европе (с. 640). Является преувеличением и утверждение автора о существовании в России всероссийского рынка с середины XVIII в. (с. 528, 624, 626). В условиях господства натурального хозяйства, низкой покупательной способности населения, ведущей роли казенных заказов на промышленную продукцию, господства ярмарочной торговли, преобладания принудительного труда не только в сельском хозяйстве, но и в промышленности, складывание даже всероссийского товарного рынка отодвигается в

лучшем случае на пореформенный период, а единый рынок наемного труда возникает лишь в конце XIX в.

Спрявление уровня социального неравенства в России – результат некорректного анализа источников. Так, Миронов относит к беднейшим лишь безземельных и безлошадных крестьян, удельный вес которых в середине XIX в. составлял примерно 24% (с. 471). А.М. Анфимов объединял в эту группу безлошадных и однолошадных крестьян, поскольку они в большинстве своем не могли обходиться доходами от собственного земледельческого хозяйства и пополняли свой бюджет за счет продажи рабочей силы³⁶. Сибирский ученый-аграрник Л.М. Горюшкин относил к беднякам дворы с посевом до 4 десятин, 1–2 рабочими лошадьми и с 1–2 коровами³⁷, что подтверждают и современные исследователи. При такой градации удельный вес бедняцких дворов в Европейской России превышал 60% всех крестьянских дворов, среднего крестьянства достигал 30%, а зажиточного составлял около 10%³⁸. Но несравненно больший разрыв существовал между крестьянством и землевладельческим классом. Согласно статистике землевладения 1905 г. по 50 губерниям Европейской России 31% крестьян были вообще лишены земли. У остальных в среднем на двор приходилось 10.2 десятины надельной земли, в то время как у землевладельцев 114 десятин на владение, т.е. в 10 раз больше, а у помещиков-дворян – 496.8 десятины, – почти в 50 раз больше, чем у крестьян. При этом дворянские латифундии размером более 1 тыс. десятин каждое в 47 губерниях Европейской России составляли 8.7% дворянских владений, сосредоточивали 72.1% земли дворян³⁹. С учетом крестьянства, составлявшего по переписи 1897 г. 77.1% всего населения империи, и всех других слоев оказывается, что на беднейших мелких хозяев, полупролетариев и пролетариев приходилось в конце XIX в. 63.7%, а в 1913 г. – 78.5% земли. Зажиточные мелкие хозяйства составляли соответственно 18.4 и 19%, а крупная – буржуазия, помещики, высшие чины и проч. давали 3 и 2.5% населения⁴⁰.

Данные, собранные в Министерстве финансов в начале XX в. в процессе подготовки к введению в России подоходного налога, которые широко использует Миронов, показали (по данным на 1904 г.) чрезвычайно малое число лиц, имевших доход свыше 1 тыс. руб. в год и потому способных платить налог – всего 404.7 тыс. человек и 696.7 тыс. (по более точным данным) на 1909 г., что давало в среднем менее полпроцента населения. Все остальное население было не в состоянии платить подоходный налог, что служило главной причиной его позднего введения (только в 1916 г.). Для широких слоев населения сохранялись другие виды налогообложения – сначала подушная подать и выкупные платежи, затем поземельный и промысловый налоги, налог с недвижимых имуществ, земские и мирские сборы, косвенные налоги и др. Для сравнения отметим, что платежеспособное население в Пруссии составляло около 1 млн человек и это при том, что общая численность ее населения была более чем в 10 раз меньше аналогичного показателя в России⁴¹.

Средние данные этого источника, которые рассматривает Миронов, затушевывают существовавшие различия среди потенциальных плательщиков подоходного налога. Если использовать дифференцированные сведения, то окажется, что из получавших доход от земли 74.3% имели от 1 до 5 тыс. рублей, на них приходилось 27.3% всех доходов земельных собственников. В то же время 23% общей суммы имели 1.2% владельцев, каждый из которых получал более 50 тыс. руб. ежегодно. От денежных капиталов доход от 1 до 5 тыс. руб. получали 82.4% всех лиц, имевших такие доходы, а свыше 50 тыс. 0.6% лиц. Совокупный доход последних составлял 21.9% общего дохода от денежных капиталов. Аналогичная картина была у владельцев городских недвижимых имуществ⁴².

Малый процент имущих слоев и нищенский уровень жизни большинства населения России соответствовали исключительно низким размерам народного дохода на душу населения по сравнению с другими странами. Если в Англии этот доход в среднем в год составлял 49 фунтов стерлингов, во Франции – 37, в Германии – 30.9, то в России – всего 8 фунтов стерлингов. В рублях средний годовой доход на одного россиянина в 1913 г. определяется исследователями от 73 до 85–90 руб.⁴³

При тех сильных диспропорциях, которые существовали в Российской империи между промышленным и аграрным секторами экономики, в социальной сфере, культуре (сосуществование высоко развитых, находящихся на уровне мировых достижений литературы, искусства, науки, философии и т.д. и низкого уровня образования и общей культуры народных масс, о чем пишет и Миронов), рассуждения о среднем уровне развития страны (с. 628) превращаются в надуманную конструкцию исследователя, а не реально существующую реальность.

Одновременно Миронов неоправданно модернизирует общественно-политическое развитие страны. Не могу согласиться с тезисом о появлении в XVIII столетии гражданского общества (с. 666). К этому времени относится оформление сословий, основанных на правовом неравенстве, гражданское же общество предполагает равенство прав граждан. Многочисленные «добровольные общества», о которых пишет автор (с. 663), не имеют отношения к гражданскому обществу. Они создавались под контролем властей, имели узкокорпоративный характер, были лишены права выходить за поставленные им рамки, касаться общегосударственных вопросов. Не случайно различные политические организации, появившиеся до 1905 г., действовали как нелегальные.

Эволюция самодержавия под натиском революции 1905 г. носила ограниченный характер. На мой взгляд, ни о конституции, ни о парламенте, ни о «почти всеобщем» избирательном праве (с. 638, 661, 663) говорить не приходится. Считаю правыми тех исследователей, которые признают переходный характер российской государственности, незавершенность эволюции самодержавия в конституционную монархию. Это подтверждается и тем, что император по-прежнему осуществлял полновластие внутри страны, господство над своими подданными. Демократические свободы, завоеванные в ходе революции, представлялись в Основных законах 1906 г. как права и обязанности российских подданных (а не граждан), которые под лоном Церкви присягали императору и наследнику, клялись в своей преданности престолу и Отечеству.

Следует согласиться с Мироновым, что руководящая роль интеллигенции в русских революциях недооценивается. Именно интеллигенция формулировала общенациональные задачи, выступала против самодержавия, за равенство и свободу, она возглавляла большинство политических партий и организаций. Однако абсолютизировать ее деятельность, сводить все к PR-кампаниям и технологиям по меньшей мере странно. И политические притязания интеллигенции, и рабочее и крестьянское движение, на которые она опиралась, имели под собой серьезные объективные основания. Кстати, в значительной мере они были связаны с материальным положением трудящихся: не случайно главные требования рабочих в ходе стачечной борьбы и конца XIX, и начала XX в. касались заработной платы, а основные требования крестьянских выступлений и многочисленных петиций – наделения земель. Для крестьян имело значение не только малоземелье, но и традиционалистское убеждение в том, что земля – ничья, Божия, и владеть ею должны те, кто ее обрабатывает. Дворянство же, которое после реформы 1861 г. треть своей земли сдавало в аренду тем же крестьянам за высокую плату, в их понимании не имело на нее права.

Отказывая русским революциям в объективной основе, абсолютизируя значение субъективного фактора, Миронов рубит сук, на котором сидит, – по существу он выводит эти революции за рамки мировых закономерностей, хотя постоянно подчеркивает, что Россия шла вровень со странами Запада.

С.В. Куликов: Любая революция – хорошо отрежиссированный спектакль

1917 г. год – событие, находящееся в центре внимания Б.Н. Миронова и его оппонентов. «Новый мир» должен был иметь не только «новую религию», но и «новую историю», и понятно, что в ее основу не могла лечь «старая история», которую если и не бросили на «свалку истории» (прошу прощения за невольные повторы), то лишь только для того, чтобы сделать ее более чем 1000-летний (!!!) «обрубок» прелюдией к

рождению «нового мира» и «новой истории», занявших в итоге какие-то жалкие (в хронологическом смысле) 70 лет. Но «нищета философии» проявилась не только в этом. У большевистских идеологов и обслуживавших их нужды историков, в том числе ныне здравствующих, не получилось выдумать ничего другого, кроме как мифа о «темном», 1000-летнем царстве, царстве всеохватного перманентного социально-экономического кризиса, начавшего свой отчет едва ли не до «призвания варягов» и закончившегося только... «Великим Октябрем». Даже с общефилософской точки зрения эта концепция уязвима до смешного: факт гибели какого-либо государства отнюдь не всегда свидетельствует о кризисе. Великие и малые государства рушились по самым разным причинам. На наших глазах происходит исчезновение национальных государств, объединившихся в Европейский союз, но совсем не из-за системного кризиса.

Вообще, сильной стороной концепции Миронова о перманентном прогрессивном развитии имперской России является то, что он, в отличие от современных мальтузианцев (в частности С.А. Нефедова), не отрицая влияния на социальную историю факторов массового, точнее стихийного, характера, анализирует указанное влияние и с учетом воздействия, оказываемого на социум политикой в целом и политическими элитами и их группами в частности. В этой связи особое значение приобретают интерпретации, даваемые в рассматриваемой монографии революциям 1905–1907 и 1917 гг. (с февраля по октябрь). Поскольку Миронову впервые в научной историографии удалось доказать, что объективных причин перечисленные революции не имели (а если и имели, то не в том смысле, который обычно подразумевается в данном случае), то, опять-таки, только ему удалось создать эпистемологические предпосылки для выявления истинной роли борьбы элит и контрэлит применительно к истории России начала XX в. Кстати, современные неомальтузианцы (в частности, П.В. Турчин) ушли далеко вперед от отца-основателя (т.е. Мальтуса), ибо, в отличие от последнего, признают причиной социальных катаклизмов не перепроизводство населения вообще, а прежде всего перепроизводство элит. Но в этом пункте неомальтузианство, пытаясь усидеть на двух стульях, еще более уязвимо для критики, не давая ни точных критериев того, что такое элиты, ни их иерархии, ни, наконец, механизма взаимодействия между ними.

Анализ полемики между Мироновым и современными мальтузианцами, открыто или подспудно протекающей на страницах монографии петербургского историка, лишний раз доказывает, что ни марксистская парадигма, ни мальтузианская, ни их комбинация, принося, несомненно, известную пользу, но только в узкой области экономической или демографической истории, не способны дать адекватного объяснения политической истории Российской империи и таких ее ключевых проблем, как модернизация страны и борьба правящей элиты и контрэлиты. Что касается модернизации, Миронов, как представляется, несколько недооценивает реформаторский потенциал личности императора Николая II, в чем-то еще по-традиционному трактуя его взаимоотношения с контрэлитой, которая якобы была единственным агентом модернизации, поскольку монарх возглавлял правящую элиту, отличавшуюся, будто бы, консервативностью. Между тем, по нашим наблюдениям, и Николай II, и его либеральные оппоненты в действительности сходились в главной цели – модернизации, расходясь только в темпах и методах ее проведения. Здесь уместно напомнить о предложенной С. Хантингтоном оппозиции двух реформаторских тактик – «фабианство» и «блицкриг». Очевидно, также, что масло в огонь подливала нерешенность вопроса не о том, проводить реформы или нет, а о том – кому их проводить: власти или оппозиционной общественности⁴⁴.

Сделанное Мироновым разведение объективных и субъективных причин революции сделало возможным изучение субъективного фактора, не впадая в вульгарное упрощенчество. «Жизнь – это театр. И люди в нем – актеры». Чеканная фраза У. Шекспира – не просто литературный перл, но вывод, имеющий историческое значение. Любая революция, или государственный переворот, будучи взята сама по себе, без обожествляющего ее шлейфа стихийности, есть не более, как хорошо отрежиссированный и сыгранный спектакль, плод использования специфических технологий. Еще в 1931 г. выдающийся итальянский политолог К. Малапарте писал, подразумевая «машину вос-

стания» и, кстати, солидаризируясь в данном случае с Л.Д. Троцким: «Приведение в действие этой машины не зависит от общей обстановки в стране, от чрезвычайных обстоятельств, как, например, назревший революционный кризис или воспламененный до неистовства мятежный дух пролетарских масс, неспособность правительства справиться с политическими, социальными и экономическими неурядицами. Восстание совершается не массами, его совершает горстка решительных людей, обученных тактике восстания, умеющих быстро и сокрушительно поражать жизненно важные центры технической структуры государства»⁴⁵. Все эти выводы хорошо подтверждаются историей Февральской революции 1917 г. в России, которая одержала свои главные победы, в Петрограде и Пскове, благодаря большой организаторской деятельности руководителей Центрального военно-промышленного комитета А.И. Коновалова, Н.В. Некрасова, М.И. Терещенко и других, объединившихся под руководством А.И. Гучкова в хорошо законспирированный кружок, который имел штаб-квартиру в ЦВПК, связи с заводами и казармами через рабочую группу (с ней контактировал А.Ф. Керенский) и конспиративную «военную организацию» и пользовался всеобщей поддержкой почти всех политических сил, оппозиционных старому режиму⁴⁶. Считаю должным отметить, что моя концепция соотносится с выводами, которые сделал петербургский историк М.М. Сафонов⁴⁷.

Если в историографии возобладала версия об абсолютной стихийности «падения монархии», то это произошло не в результате беспристрастного изучения исторических источников, а в силу, прежде всего, чисто политических причин. Уже 8 марта 1917 г. Гучков дал обоснование версии о стихийности Февральской революции, заявив тогда, что революция стала результатом не «какого-то умного и хитрого заговора, какого-то комплота, работы каких-то замаскированных заговорщиков», а «стихийных исторических сил»⁴⁸. Извратить историческую реальность Гучкова заставило разделявшееся им и другими вождями нового порядка убеждение в том, что признание революции не стихийной, а организованной затруднит ее легитимацию. Допущение мысли об инспирированности революционных событий группой заговорщиков лишало эти события ореола всенародного волеизъявления. Характерны сомнения А.А. Блока, близкого друга М.И. Терещенко, от которого поэт мог узнать о закулисной стороне Февральской революции: «Революция предполагает волю; было ли действие воли? Было со стороны небольшой кучки лиц. Не знаю, была ли революция?»⁴⁹. Подобного рода сомнения вели к эрозии революционного сознания, для сохранения и упрочения которого и потребовалась версия о стихийности Февраля. В том, что революция не являлась «результатом работы какой-то группы заговорщиков», как это наблюдалось «в младотурецком или младопортугальском перевороте», крылась, по мнению Гучкова, гарантия ее «незыблемой прочности». «Не людьми этот переворот сделан, – передавал он логику, заставлявшую трактовать революцию как нечто стихийное, – и поэтому не людьми может он быть разрушен»⁵⁰. Очевидно, что дезавуирование Гучковым младотурецкой и португальской революций 1908 и 1910 гг., первая из которых закончилась установлением конституционной монархии, а вторая – заменой монархии республикой, не выдерживает серьезной критики. Что же, россияне, в отличие от турок или португальцев, жили на другой планете, где перевороты совершаются не людьми, а стихиями?

П.П. Щербинин: Если море не штормит, никакие элиты не смогут раскачать государственный корабль

Одно из принципиальных положений Б.Н. Миронова об отсутствии в России в начале XX в. всеобщего системного кризиса самодержавия (с. 41–47, 640–674 и др.) представляется мне малоубедительным. Изучая более 20 лет социальное поведение, общественно-политическую активность, повседневную жизнь населения аграрного социума Черноземного Центра в начале XX в., положение представителей военного сословия и солдатских жен в Российской империи в XVIII – начале XX в., я не могу со-

гласиться с утверждением о решаемости аграрного, национального, рабочего и прочих острых вопросов развития российской государственности. Можно приводить модернизационную концепцию развития России, данные о росте потребления и биостусе населения, но как тогда игнорировать другие массовые источники, свидетельствовавшие о явно кризисных явлениях в различных сферах экономической жизни населения, политическом беспорядке, полицейском произволе. О серьезных проблемах в период Первой мировой войны в различных регионах страны докладывали губернаторы, о политической нестабильности и росте напряженности сообщали жандармские управления, но самое важное – это отклики населения, отраженные в периодической печати, земских обследованиях нуждемости, переписке и воспоминаниях, первичных архивных источниках. Невозможно представить, что все они ошибались, либо действовали по чьей-либо указке. Откуда же пошли бунтарские проявления, рост протестных настроений, радикализм самых широких слоев в 1917 г.?

Миронов пишет об «оппозиционной существующему режиму общественности – контрэлите, которая создала в стране атмосферу экономического и политического кризиса, подготовила почву для революции» (с. 665). Но подобный тезис не убедителен, ибо никакие элиты и слои, лидеры политических движений не могут раскатать государственный корабль, если море не штормит и судно имеет хорошие устойчивые мореходные качества. Я уважаю точку зрения Миронова и его собственную убежденность, но никак не могу принять без достаточных доказательств его версию о PR-ходах радикально-либеральной интеллигенции, обусловивших революции начала XX в. (с. 674). Все это напоминает до боли знакомую концепцию о руководящей роли большевиков в революциях 1905–1907 и 1917 гг. Теория модернизации, которой так дорожит Миронов, не имеет столь убедительных доводов, чтобы вдруг стали явными «тайные» стороны революционного процесса, чтобы так легко объяснить крушение царского режима и кризис монархической идеологии среди населения.

А.А. Куренышев: Человек – не скотина, которая при хорошем питании ничего больше не требует

Нельзя сказать, что исследовательская работа Б.Н. Миронова базируется исключительно на голых фактах, почерпнутых из разного рода статистических сборников или самостоятельно выявленных им в архивах, и не имеет в своей основе определенной теории. Во-первых, Миронов как будто использует то, что в свое время носило название «марксизма-ленинизма». У него, например, нет сомнений в правильности известной марксистской формулы, характеризующей революционную ситуацию. Из нее он выбирает последнюю часть (усиление выше обычного нищеты, нужды и бедствий народных масс), фиксирующей внимание исключительно на материальном положении народа (в российской ситуации – это, в основном, крестьянство). Далее все просто: на основании чисто количественных показателей (увеличение роста – почему не веса?) призывников, Миронов делает вывод о росте благосостояния населения страны и как следствие, отсутствии объективных предпосылок роста недовольства народа своим положением и отсутствии объективных причин революции. Напомню, что с позиций марксизма для революции необходима определенная культурная или политическая зрелость тех социальных сил, которые призваны ее совершить, а для этого, как правило, требуется и определенный уровень благосостояния, в котором следует включать не только рост потребления материальной пищи, но и рост потребления пищи духовной. В конце концов, человек – не скотина, которая всем довольна при хорошем питании и ничего для себя лучшего не желает и не требует.

В критике народолюбивой интеллигенции Миронов и его единомышленники по духу очень близки небезызвестному антиреволюционному сборнику «Вехи». Попутно они обвиняют участников освободительного движения в беспринципной жажде власти. «Основная причина конфликта государства и общества, – пишет Миронов, –

приведшего к революциям 1905 и 1917 гг., заключается в борьбе за власть, лидеры либерально-радикальной общественности хотели сами руководить реформационным процессом, который непрерывно проходил в России в период империи, и на революционной волне отнять власть у бюрократии». Миронов при этом ссылается на статью С.В. Куликова «Революции непременно идут сверху: Падение царизма сквозь призму элитарной парадигмы» (Нестор. 2007. № 11. С. 117–185). Неловко, конечно, уличать маститого историка в незнании законов политической борьбы и опять же в догматической интерпретации все той же формулы революционной ситуации, теперь уже первой ее части: верхи не могут управлять по-старому. Если бы Миронов занимался не ниспровержением, как ему кажется, устаревших марксистских догм, а проследил ход событий в начале 1905 г., то он бы смог наполнить формулу «верхи не могут управлять по-старому» конкретным историческим содержанием. Ярким примером служит рескрипт Николая II 18 февраля. Помимо раскритикованного оппозицией проекта создания законосовещательной Думы (тоже, кстати говоря, признак того, что верхи уже не могли управлять по-старому) был издан еще один указ, призывавший граждан всех сословий, но естественно, преимущественно «низы» российского общества, обращаться к властям с петициями и прошениями, высказывать мысли об улучшении местных порядков и т.п.⁵¹ Так вот, на волне этой петиционной кампании возникла такая значительная для революционного движения организация, как Всероссийский крестьянский союз (ВКС). Для того чтобы смягчить напряжение в рабочей среде, правительство учредило комиссию Шидловского. Помимо воли ее создателей, силой обстоятельств, комиссия послужила одним из оснований Петербургского совета рабочих депутатов, который при определенных обстоятельствах мог захватить власть и вместе с ВКС составить то самое революционно-демократическое рабоче-крестьянское правительство, о котором писал Ленин. Миронову и его сторонникам удобнее, конечно, все свести к заговору, деятельности масонов и т.п. Исходным пунктом такой позиции, помимо всего прочего, является снобистски высокомерное отношение к народным массам. Если их уровень культуры действительно оставлял желать много лучшего, то что сказать о выросших как грибы после дождя в ходе революции многочисленных интеллигентских организациях: союзах учителей, юристов, театральных деятелей, а также идейно и политически изменившихся до неузнаваемости старых обществах. Например, о Московском обществе сельского хозяйства, 14 января разославшим по стране революционную прокламацию, Российском техническом обществе, Педагогическом обществе и других? Их переполняли масоны, или их деятельность проплачивалась японскими деньгами? Вернемся, однако, к главному «открытию» Миронова так называемому биостатусу русского народа. Сведение социального развития к биологическому методологически некорректно. Почему бы тогда не объяснять причины исторических событий при помощи физики или химии?

И.В. Михайлов: Зачем в работе о «благосостоянии» вспоминать о революции?

Автор «Благосостояния...» постоянно воюет с какими-то библиографически неуловимыми концепциями революции. Оказывается, марксистская историография исходила из положения об абсолютном и относительном обнищании трудящихся при капитализме и упорно доказывала это на примере крестьянства. Были, правда, отрадные исключения (с. 36–38), а в общем, концепция обнищания пролетариата уже во второй половине 1950-х гг. подверглась ревизии (с. 39). Если так, то кого же ниспровергает Миронов? И с какой целью? Если марксистская историография действовала в парадигме экономического детерминизма (в чем я не вполне уверен), то сам он поступает точно так же, делая, правда, диаметрально противоположные выводы. В связи с этим хочу напомнить, что 30–40 лет назад советские историки чаще вспоминали о диалектике, нежели о чем-то другом. Впрочем, Миронов находит сторонников и других «неверных»

подходов, в частности мальтузианцев. В прошлом они «всегда были непримиримыми критиками друг друга», но в последнее время изворотливые поклонники коварного Т. Мальтуса ухитрились соединить идею «экзистенциального кризиса» крестьянства с марксизмом (с. 641). Чтобы увести читателя в нужном направлении, надо уверить, что ранее он шел по ложному следу.

Попробую внести ясность в историографическую подоплеку проблемы. Из современных российских «мальтузианцев» могу назвать лишь одного – екатеринбургского историка С.А. Нефедова. Он исходит из идеи аграрного перенаселения и «оскудения центра» России, которая поддерживалась как дореволюционными, так и советскими исследователями. Этот автор успешно занимается проблемой аграрных предпосылок и хозяйственных последствий революции в России. В своей аргументации он стыкуется с покойным В.П. Даниловым, писавшим, что аграрная революция в России фактически началась в 1902 г. Из западных «мальтузианцев» наиболее известен Дж. Голдстоун – сторонник так называемого четвертого поколения теорий революции, заявивших о себе по преимуществу в перенаселенном «третьем мире». Об этом авторе Миронов даже не упоминает. Внешне с «четвертым поколением» теорий революции стыкуется «Красная смута» В.П. Булдакова, но этот автор исходит не из аграрной предопределенности революционаризма, а идеи системного кризиса империи, начинающегося с «головы»⁵². Ну а марксистов-мальтузианцев вообще не видно. Существуют, правда, неомарксисты (в литературе, а не у Миронова), променявшие формационную теорию Маркса на кондратьевскую череду технологических укладов (это открывает новые возможности научного шарлатанства), но их автор не замечает.

Впрочем, по Миронову, оказывается, существует и более изощренная «структурно-демографическая» теория революции, суть которой в том, что рост населения вызывает кризис государства не прямо, а косвенно – путем воздействия на общественные институты. Оказывается, революция может быть вызвана «недостатком ресурсов для элиты, а не для народа» – нехорошо, когда образованных людей слишком много. Ни у одного из отечественных историков революции столь вульгарного дискурса я не встречал. Похоже, данную «теорию» конструирует сам Миронов, выборочно используя идеи В. Парето и Р. Михельса (с. 644–654, 691). Суть их представлений о переворотах – в одряхлении бюрократии и «перепроизводстве» новой элиты (а вовсе не в демографическом перенаселении деревни). На мой взгляд, мысли отмеченных авторов заслуживают более достойного использования применительно к истории России. Вообще-то формальная ученость в косных управленческих системах вещь бесполезная, если не излишняя. Бюрократизирующиеся патерналистские системы действительно могут породить бессмысленный круговорот элит (В. Парето). Миронов, однако, пишет об активно модернизирующейся, а вовсе не о бюрократизирующейся России.

Возникает вопрос: как и почему образованных людей вообще могло стать «слишком много» в период модернизации, если инновационные процессы требуют прилива творческих сил? Оказывается, даже из такой логически неловкой ситуации можно попробовать выкрутиться. Согласно Миронову, в дореволюционной России случилось «перепроизводство» людей умственного труда «относительно ресурсов» – «население России за 1863–1913 гг. возросло в 2,3 раза, а число работников квалифицированного умственного труда в сфере образования, медицины, культуры и науки – более чем в 8–10 раз» (с. 646–647). При этом сам Миронов парадоксальным образом признает, что «нет оснований говорить об избытке квалифицированных кадров в сфере образования» (с. 649). Как понимать эти и подобные им противоречия его книги?

На мой взгляд, вышеприведенные данные можно трактовать как растущий разрыв между европеизированной культурой верхов и традиционной культурой низов. А это – одно из слагаемых революции, о чем уже неоднократно писали российские и западные авторы. Однако Миронов использует статистику с прямо противоположной целью. В свое время марксистская историография внушала, что «либеральная буржуазия», усилившись экономически, вплотную подобралась к власти, Миронов поступает иначе, утверждая, что самодержавию мешала непомерно расплодившаяся своекорыст-

ная интеллигенция. На подобных установках базировались в свое время авторы «Вех», на них же основываются и современные «заговорщические» домыслы о революции. Но как тогда понимать данные переписи 1939 г., согласно которым удельный вес лиц с высшим образованием сравнительно с 1917 г. вырос в 2.4 раза, а применительно к переписи 1897 г. – в 5.3 раза (с. 545)? Как очередное перепроизводство интеллигенции, от избытка которой не удалось избавиться даже в 1937–1938 гг.? Похоже, Миронов даже и не подозревает, сколько подобных логических несуразностей возникает при внимательном знакомстве с его книгой.

Согласно Миронову, лучше всего объясняет происхождение русских революций начала XX в. теория модернизации (с. 674). Между прочим, от теории модернизации давно отказались все серьезные – и западные, и российские – историки из-за ее ограниченного европоцентризма. Трудно сказать, как относится к этому факту сторонник эволюционного западного прогресса Миронов, но о революциях на Западе он даже не упоминает – их вроде бы не было, как не должно было быть в России. Если так, то получается, что российские «революции начала XX в. были обусловлены не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами, в том числе блестящей PR-активностью противников монархии», в них виновата исключительно интеллигенция, действовавшая за спиной народа, хитроумно вовлеченного в революцию (с. 674).

Возникает вопрос: что сам Миронов знает о революции? Если просмотреть ссылки и обширную библиографию в конце книги, то окажется, что ровным счетом ничего. Впрочем, упрекать его в этом было бы не вполне справедливо. О революции у нас иной раз пишут «эмпирики», которые ничего не ведают ни о каких теориях, и «теоретики», которые ничего не знают о ее реалиях. И те, и другие обычно очень обижаются, когда их упрекают в недостатке профессионализма.

Автор, в заглавии книги которого фигурируют революции, «забыл» даже своих ближайших коллег, известных блестящими исследованиями революций. Почему? Они мешают. Зачем, к примеру, Миронову книга Б.И. Колоницкого о массовом сознании революционной эпохи⁵³, если ее содержание полностью расходится с теорией заговора? Забыл Миронов и Б.В. Ананьича, хотя в библиографическом приложении фигурирует его собственная статья, направленная против него⁵⁴. Зато другого своего научного соседа С.В. Куликова Миронов упоминает постоянно – тот занимается прославлением высокоученой царской бюрократии и самого императора, которым помешали воплотить в жизнь модернизационные реформы невежественные интеллигенты. Как бы то ни было, Миронов иной раз действует явно в пику своим коллегам, ссылаясь вместо их признанных работ на авторефераты кандидатских диссертаций.

Миронов потратил немалые усилия, чтобы доказать, что имущественное неравенство в царской России ничуть не увеличивалось. Доходы 10% самых богатых людей превышали доходы 10% самых бедных «всего» в 5.8 раза (с. 657). В традиционном обществе столь вопиющая разница в доходах воспринимается как «норма». Другое дело – быстро развивающееся (модернизирующееся) общество. Его члены начинают активно следить за теми, кто отхватывает наиболее жирные куски от пирога «прогресса» – отсюда и «классовая» борьба. Но куда существеннее другое: поскольку жизненные блага люди с традиционной психологией оценивают как нечто дарованное свыше, то всякий сбой «прогресса» они воспринимают как действия всевозможных злоумышленников. И никакие реформы в политической области этой установки не изменят.

Однако, по мнению Миронова, «политическое развитие страны после Великих реформ было не менее успешным, чем экономическое», в 1906 г. страна стала конституционной монархией, появилась масса добровольных обществ (с. 663). Более того, «именно большие и неоспоримые успехи российского социума обусловили возникновение в стране сильного гражданского общества, способного бросить вызов старой элите и государству» (с. 664, 691). Оказывается, царь сумел бы удовлетворить интел-

ресы рабочих и крестьян, но невозможно было угодить «либерально-радикальной обществу», стремившейся руководить модернизационным процессом, «который почти непрерывно происходил в России» (с. 664). Февральская революция «произошла при финансовой поддержке не столько Германии, сколько русской буржуазии». От замысла заговора до его реализации прошло полтора года. При этом автор ссылается на более чем сомнительные изыскания Куликова, сочинившего сказку о конспиративной деятельности «военной организации», созданной октябристами, левыми кадетами и прогрессистами в недрах Центрального военно-промышленного комитета (с. 665).

Собственно революциям отводится ничтожное место. Проводится мысль, что «революции начала XX в. были обусловлены не столько социально-экономическими, сколько политическими факторами, в том числе блестящей PR-активностью противников монархии» (с. 892). Допустим, так и было. Но неужели этого достаточно, чтобы сбросить трехсотлетнюю монархию, которая только и делала, что планомерно занималась модернизацией России? Конечно, противникам императора могла «помочь» мировая война, чудовищно обострившая все социальные проблемы. Но об этом Миронов почти не вспоминает.

Какие же, по мнению Миронова, проблемы стояли перед пореформенной Россией? Первая из них – «кому управлять страной». Здесь он ссылается на А.И. Солженицына, писавшего о «долгом взаимном ожесточении образованного общества и власти». Но, в отличие от Солженицына, Миронов возлагает вину не на императора, а на «неразумную» оппозицию. В свою очередь в Октябрьском перевороте, разумеется, «финансировавшемся в значительной степени иностранными деньгами», были заинтересованы западные союзники России, не желавшие делиться с ней плодами близкой победы (с. 667). При этом Миронов ссылается на Н.В. Старикова⁵⁵ и А.С. Сеньявского⁵⁶. Одно название книги первого указывает на то, что перед нами обычный «пиарщик», паразитирующий на людском невежестве; о конкретно-исследовательских заслугах второго автора применительно к изучению революции мне не известно.

Следующей причиной революции Миронов называет аграрный вопрос. При этом оказывается, что «неразумные» аграрные вождедения крестьянства «поощрялись важнейшими политическими партиями и отчасти – самой властью», поддерживавшей «иждивенческие настроения и патерналистские надежды земледельцев великороссийских губерний» (с. 668). Как видно, автор полагает, что этого делать не стоило. Но как совместить идею «шоковой терапии» с эволюционизмом?

Что касается «рабочего вопроса», то, согласно Миронову, пролетарии вели себя непорядочно – хотели слишком многого. Между тем правительство давно встало на «разумный и прагматичный путь». Конечно, и правительство не всегда точно следовало мироновским рецептам. Так, в национальном вопросе «ради сохранения единства государства следовало сделать больше уступок», ибо «модернизация империи натолкнулась на национализм и сама по себе способствовала его росту» (с. 669). Звучит наивно, этой проблематики автор не знает.

В ряду причин революции Миронов называет «социально-экономическое неравенство», но сводит проблему к осознанию его крестьянами, что якобы произвело на них «травматическое воздействие» вследствие «повышения грамотности, информированности, расширения кругозора». Сыграли свою роль и миграции, и введение всеобщей воинской повинности, и «знакомство с городом», и революционная пропаганда (с. 669). Получается, что «городской» прогресс деревне был ни к чему, от него России одни беды. Как ни парадоксально, на следующей странице, упоминая о культурном расколе общества как о причине революции, Миронов утверждает, что «введение обязательного начального обучения, уравнивание всех граждан в правах, снятие ограничений на передвижение в конечном счете вели к преодолению культурного раскола» (с. 670). С этим нельзя не согласиться. Следовало бы только добавить, что ни одна из указанных мер до 1917 г. осуществлена не была.

Как ни странно, в числе причин революции Миронов упоминает и «низкий уровень жизни». При этом, чтобы не впасть в противоречие, он заявляет, что хотя уровень

жизни большинства населения «в абсолютном смысле повышался, потребности и запросы росли еще быстрее, что и служило фактором растущего недовольства широких масс населения в пореформенное время» (с. 670). Но так бывает всегда; реформатор обязан это учитывать. В общем, непонятливый народ достался российским венценосным модернизаторам! По мнению Миронова, «военные поражения» следует выделить в особый фактор революции. И, разумеется, он прав, заявляя, что «несколько крупных поражений в двух войнах подряд в течение лишь 13 лет (1904–1917 гг.), сильно ударили по престижу не только государства, правящей элиты, но и самого монарха» (с. 674). Но ведь модернизация проводилась именно для усиления военной мощи России, а никак ни для ее ослабления!

У меня создается впечатление, что Миронов живет в каком-то зазеркалье. По всей книге рассыпаны «перлы», вызывающие недоумение. Особенно изумляет утверждение, что водка играла в крестьянской жизни роль своеобразного «вентилятора», благополучно выдувающего «излишние» доходы сельских тружеников (с. 565). Разумеется, Миронов не упоминает о том, насколько алкоголизация населения беспокоила общественность, зато не забывает о радости бюрократов в связи с ростом доходов от акцизов (с. 644). Напомню, что 1917 г. ознаменовался чередой пьяных погромов – таков был результат политики спаивания населения и столь же бездумно сменившего ее курса на «отрезвление». Миронов попросту не желает замечать реальных проблем дореволюционной России.

Я решительно не понимаю, зачем в специальной работе о «благополучии» надо было вообще вспоминать о революции, о которой равным счетом ничего не знаешь? Составлял бы себе Миронов антропометрические таблицы, графики, схемы, не думая о малознакомых предметах – приводимая статистика выглядела бы намного убедительней. Если же известно, что Миронов крайне озабочен (как и многие другие авторы в наше время) отрицанием всякой революционности, то любая приводимая им цифирь будет наводить на мысль о подлоге.

О.Н. Катионов: Смена правящих элит как обновление кадров

Б.Н. Миронов обращает внимание не на разрозненность действий власти и народа или отдельных социальных групп при формировании благополучия, а на заинтересованность тех и других в совместных действиях-усилиях в этом процессе. Другой вопрос – как это удавалось на всех этапах исследуемого периода. И здесь автор со скрупулезностью педанта поэтапно исследует 220 лет процесса, отмечая успехи и неудачи этих совместных действий (с. 22). Восстание, выступление, ссылка, теракт – это все показатели совместного действия властей и населения или же это диссонанс в общем поступательном процессе? Как на это ответит автор?

В целом же политические выводы Миронова вызывают сомнения. Получается, что, если бы Россия развивалась поступательно, уровень жизни населения неуклонно повышался, то и революций в условиях стабильности и поступательности быть не должно. Но не надо забывать и о других факторах, вызывавших социальную напряженность. Это и огромное количество вооруженных людей, не уважающих власть в силу разных причин, и падение авторитета власти у населения, которое ведет к падению самой власти. Революции или смены режимов – это события, базирующиеся на внутренних и внешних противоречиях, приводящие к потере авторитета правящих элит и тем самым вызывающие их падение, иногда кажущимся легким их смещением в ходе локальных волнений. Неспособность управлять – главный показатель, вызвавший революции 1917 г. конфликт интересов правящих элит и элит, стремящихся перехватить у них власть, – важнейший аргумент, отстаиваемый Мироновым в оценке революции в ракурсе модернизационной парадигмы. Может быть, в теории модернизации смена правящих элит и есть обновление кадров, обладающих способностями к организации успешных модернизационных процессов.

В.П. Булдаков: «Прогресс» споткнулся на людских эмоциях

Способов выхолощивания смыслов истории много. Миронов использует наиболее доходчивый из них – «среднестатистические» данные. Вообще-то для анализа сложноорганизованных систем «лишних» данных не бывает. Другое дело – умение их использовать, определив степень релевантности применительно к иерархичности системы, которая, как известно, не ограничивается экономической составляющей. В противном случае опора на «среднестатистические» данные приведет к «открытию» типа «корова утонула в реке, в которой воды ей было в среднем по колено». А об использовании Мироновым фактора животной сытости, как мерила всех начал, говорить вообще неловко – все же человек не просто биологическое существо. Естественно, что с позиций «биологического детерминизма» самой ненавистной дефиницией становится кризис. Как минимум, подобное понятие следует обкорнать. Что такое «системный» кризис по Миронову? Этот антипод модернизации носит чисто хозяйственный характер, что якобы находит свое решающее подтверждение в деградации человеческого биостатуса.

Неужели автор думает, что хилый ребенок, выживший в голодный год своего появления на свет, не может восполнить свой человеческий потенциал в результате последующей физической и ментальной гиперкомпенсации? С полным основанием можно предположить, что в целом «естественный отбор» – человека, а не животного – наиболее интенсивно происходит не благодаря, а вопреки природным невзгодам. И это касается, между прочим, и его *vitals* (жизненно важных органов или биостатуса, по Миронову). Да и вообще, человек эволюционировал благодаря кризисным поворотам своей исторической судьбы, а не в силу тепличного ничегонеделания своих пращуров.

Миронов всерьез считает, что наличие или отсутствие системного (революционного) кризиса можно доказать или отвергнуть «биометрическим» (зоотехническим) путем? Спрашивается, какой «генетический» эффект дает среднестатистическое повышение «благополучия», если оно распределяется более чем неравномерно в социальном, имущественном, гендерном, этнодемографическом отношении, получая в конечном итоге «классово-антагонистичное» воплощение? И чего будет стоить растущая сытость населения в его собственных глазах, если однажды оно окажется перед угрозой голода?

Мне кажется, Миронов ломится в открытую дверь: неуклонный прогресс технологий происходил везде и всегда, а потому вовсе не обязательно связывать его с модернизацией и деятельностью реформаторов-государственников; любой протяженный эволюционный процесс не исключает внутренней цикличности, следовательно, не стоит искать в кризисах чью-то дурную волю. В конце концов, человек как вид на протяжении тысячелетий именно *эволюционирует*, что, между прочим, происходит в форме бесконечной череды небезболезненных «революционных» подвижек. Если так, то зачем естественные параметры эволюционности, соответствующие шкале *longue durée*, экстраполировать на свой короткий век? Зачем замерять судьбу гигантской империи своими персональными пристрастиями, выдаваемыми то ли за универсальное мерило, то ли за категорический императив?

Конечно, определенные эвристические перспективы открывает и мионовский подход – бесполезных теорий не бывает. Известно, что прогресс санитарии повсеместно подтолкнул демографический бум. То, что эпоха индустриализма сама по себе способствовала резкому возрастанию массы общественного богатства с потенциально возможными положительными последствиями, также несомненно. Известно, что на Западе прогресс технологий породил «эпоху империализма» (у современных отечественных обществоведов этот термин считается неполиткорректным по причине его якобы ленинского происхождения). Нынешнее великолепие европейских столиц связано с этим феноменом; кстати, и колониям, не говоря о населении метрополии, от этого кое-что перепало. Исторический смысл данной эпохи в том, что новые коммуникативно-информационные потенциалы были использованы для навязывания «передовыми»

державами своих представлений о «порядке» остальному миру. Все это обострило социальное неравенство, а еще больше – его восприятие. И дело обернулось не «децильными коэффициентами» Миронова, а идеологической оценкой «несправедливостей».

Обычно люди действуют не на основании «объективных» показателей, поставляемых учеными, а исходя из эмоциональной оценки реальности. Мироновская «биомасса» все же мыслит по-человечески. Если на Западе процесс распределения общественного богатства развивался «рыночно-правовым» путем, то в России преобладающее значение не могла не получить «раздаточная экономика», которой стала противостоять стихия народного перераспределения. «Прогресс» споткнулся на людских эмоциях. Я не отрицаю значения социологии для современности. Но механическое опрокидывание ее, как и политики, в историю порой приносит зловредные плоды. Впрочем, вовсе не обязательно вспоминать о «классовой борьбе трудящихся» – тем более, что на Западе она была куда более развита, но ее накал скрадывался правовыми формами протекания. Уместнее взглянуть хотя бы в такой системно дестабилизирующий фактор дореволюционной России, как отходничество. Объективно его развитие означало социально небезопасное противостояние традиционной (крестьянской) и модерной (городской) экономики.

Спрашивается, оценил ли это Миронов применительно к росту благосостояния? Не заметил ли он, как на доходах крестьянства сказались заработки в городе? Из таблицы на с. 710–711 (составленной по принципу «в огороде бузина – в Киеве дядька») можно все же уловить, что низкая урожайность вкупе с размерами наделов и ценами на зерно заметно стимулировали отходничество (разумеется, при близости города). Как результат, крестьяне-отходники повышали уровень личного благосостояния, ничуть не заботясь о продуктивности своих мельчающих деревенских наделов. Увы, Миронов хладнокровно констатирует, что отходничество всего лишь компенсировало уменьшение доходов от земельных наделов (с. 598) – никакие побочные результаты «прогресса» его не волнуют.

С хозяйственной точки зрения налицо был «дурной» рост богатства. Однако Миронов не обращает на эту сторону дела никакого внимания. О том, что избыток рабочей силы в деревне составил к 1914 г. от 52 до 56% наличного числа работников, а доля отходников составляла 12% всего трудоспособного населения (с. 523–524), он упоминает как о чем-то маловажном. Между тем негативные последствия отходничества легко вообразить, вспомнив о проблеме современных мигрантов (в частности в родном городе Миронова Санкт-Петербурге). К тому же, из им же приводимых данных видно, что отходничество вело к колоссальному росту потребления водки (с. 714–716). Действительно уровень поглощения спиртного в Петербургской губ. (а не только в городе) достиг таких высот (23,9 л водки на человека в год), которые могли бы впечатлить сегодняшних противников алкоголизации России. Если так, то не кажется ли Миронову, что мнимый подъем благосостояния сопровождался реальной деморализацией основных производительных сил? А это уже относится к области *системного* (не просто хозяйственного) кризиса, но никак не к прогрессу биостатуса населения!

Чем же увенчалась длительная полоса российского реформаторства? Разве не произошло столкновение взаимоисключающих культурно-исторических начал: государственного, проникнутого верой в правомерность любых способов обирания народа во имя нужной для него модернизации; народного – ориентированного на потребление, а не производство, т.е. не сулившего ничего обнадеживающего в смысле общественно-технологического прогресса. К началу XX в. в России сложилось 3 взгляда на ситуацию: правительственно-бюрократический, интеллигентский (либеральный и революционный), народно-традиционалистский (включая его консервативно-бунтарский компонент). Об этом писал в свое время один хорошо известный Миронову австралийский автор А. Джонс⁵⁷. Между прочим, Миронов написал рецензию на книгу этого проницательного исследователя, разумеется, интерпретировав представленные в ней выводы с точностью до неузнаваемости.

В рассматриваемой книге практически полностью отсутствуют упоминания о критиках мироновских сочинений. Между тем стоило бы ответить на работы В.Л. Дьякова (Тамбов) или С.А. Нефедова (Екатеринбург), весьма критично оценивших его зоотехнические эскизы. В частности, первый показал, что колебания, а не рост рождаемости (и его антропологические характеристики) в крестьянской среде связаны, прежде всего, с *природными* циклами. Второй доказал, что Миронов навязывает нам ложную среднестатистическую картину, намеренно игнорирующую растущее социальное неравенство. Разумеется, «обидел» Миронов и меня, превратив, как и других своих критиков, в научно неразличимую величину.

В древних империях практиковалось искусственное ограничение численности претендентов на власть, а также не допускалось неупорядоченное разрастание класса управленцев. Похоже, Миронов мыслит сходными категориями, апеллируя при этом к людям, мягко говоря, наивным. К примеру, сегодня многие (отнюдь не из числа полных профанов) убеждены, что в России до революции уже существовало гражданское общество. Тот факт, что сословные и национальные ограничения были отменены лишь в 1917 г., их, как и Миронова, ничуть не смущает. Государство в России «все может», и если оно способно «успешно» проводить реформы, то почему бы ему не создать в видах собственных удобств декоративное «гражданское» общество? Как видно, Миронов, всуе поминая о прогрессе «гражданского» общества в дореволюционной России, неслучайно поносит неумную «общественность».

Иногда мне кажется, что деформация общеупотребительных понятий достигла у нас такой степени, что люди готовы налепить любую этикетку на всякое полюбившееся им деяние власти. Получается, что, перефразируя Миронова, степень вмешательства государства в жизнь людей обратно пропорциональна способности этих людей к здравомыслию. Именно на этом фоне аргументация Миронова находит своих сторонников. Вместе с тем, я отнюдь не думаю, что данные, собранные автором, совершенно бесполезны. Их, как и любой другой вторичный источник, стоит прочитать, под *иным* углом зрения. В этом, в сущности, и заключается работа историка.

Некоторые «честно» приводимые Мироновым данные у других обществоведов могут вызвать изумление. Так, оказывается, что согласно переписи 1897 г. неграмотные лица среди дворян (в возрасте 10–49 лет, родившихся в 1878–1887 гг.) составляли 17.2%. Не многовато ли для «первенствующего» сословия? Тут же приводятся еще более шокирующие данные. Согласно Миронову, в 1882 г. в Москве «*лишь*» (выделено мною. – В.Б.) около 5% взрослых потомственных дворян опустили на дно общества, став бомжами, проститутками, прислужной, а в деревне их было еще больше (с. 652). Позвольте, если привилегированный класс давал столь высокий процент деклассированных элементов, то что можно сказать о состоянии общества и системы в целом?

Впрочем, в защиту весьма неоднородного дворянства должен заметить, что именно это сословие в целом оказалось не только наиболее свободолобивым (в конце 1916 г. оно фактически *in corpore* выступило против существовавшей власти), но и достаточно жизнеспособным как в пореформенных, так и в *постреволюционных* условиях. После 1861 г. крупные землевладельцы кое-где объединялись в общества взаимопомощи и тем смогли спасти для страны высокотоварные хозяйства. А в середине 1920-х гг. большевикам пришлось в полном смысле слова выкуривать из деревни помещиков, успешно хозяйствующих под вывеской кооператоров, управляющих совхозами, руководителей всевозможных товариществ, артелей, просто «трудовых собственников» и даже председателей сельсоветов.

Российская власть приступала к реформам, лишь сполна ощутив угрозу собственной безопасности – так бывало всегда. Ради собственного спасения она готова была мобилизовать и интеллигенцию, превратив ее в управленцев и идеологов, послушно (но брезгливо) исполняющих спущенные сверху приказы. Это относится и к историкам, легко разменивающим независимость знания на казенный патриотизм или всевозможные гранты. Однако всякие разумные люди рано или поздно начинают понимать, что ради спасения страны и народа стоит пожертвовать «неразумной» властью. Имен-

но это и произошло в феврале 1917 г. Но им же было известно, что «восстание масс» не создает само по себе нового социокультурного качества. Признать неотвратимость революции – вовсе не значит ее любить. Миронов, однако, свою нелюбовь возводит в «теоретический» аргумент. Возникает вопрос: почему мы столь легковерны? Почему ради оправдания власти, которая, как всегда, занимается самообеспечением, готовы устраивать состязание химер собственного воображения? Почему, конкретно, Миронов – и не один он – положил свой исследовательский потенциал и творческий запал на доказательство несуществующего? На мой взгляд, нам стоило бы заняться своего рода когнитивной самокритикой.

Нравится нам это или нет, но мы (русские историки) работаем в совершенно определенном культурном пространстве. Русский, а затем и советский государственный патернализм своеобразен: он стремится превратить человека в такого скота, который готов поверить, что о нем искренне и бескорыстно заботятся. Российская интеллигенция, со своей стороны, постоянно челночила между бюрократией и оппозицией. Примеров этому более чем достаточно и в современности. При этом очевидно, если власть становится недееспособной (а самодержавно-бесконтрольная власть рано или поздно обнаружит свою управленческую несостоятельность), даже бюрократы перейдут в ряды недовольных интеллигентов. Умственно неповоротливые существа, в свою очередь, превратятся в ярых «патриотов», изыскивающих всевозможных «врагов России».

Если так, то конечные отсылки автора к литературе «конспирологического» жанра, представителей которого и упоминать-то неприлично, более чем закономерны. Спрашивается, в чем причина популярности детектива с его неперенными злодеями, практически никогда не остающимися безнаказанными? В том, что детектив затрагивает то, что одинаково характерно и для нашего современника, и его доисторического предка – подсознательные страхи, нуждающиеся в своем ритуально-символическом преодолении. Кстати, по распространенности детективного жанра можно судить о степени развития в обществе всевозможных неврозов, в том числе и применительно к «своему-чужому» прошлому.

Увы, Миронов сочинил плохой детектив. Им двигали упрямые конспирологические эмоции, которые он попытался скрыть с помощью «всезнающей» статистики и стандартных PR-приемов, апофеозом которых (на обложке книги) является беззаботная пышная красавица, призванная символизировать благолепие старой России. Но причем здесь собственно история? Напомню, что сам художник, создавший «Купчиху за чаем», страдал серьезным недугом.

Г. Фриз: Рост экономики мог дестабилизировать ситуацию в большей степени, чем застой

Специалисты наверняка поставят вопросы не технического свойства, когда познакомятся с соображениями Миронова о революциях 1905 и 1917 гг. Автор считает, что его исследование опровергает традиционный взгляд о постоянном снижении уровня жизни, на что историки обычно ссылаются при объяснении революционного движения в начале XX в. Применение количественных методов в истории заслуживает признания, несмотря на некоторые замечания и придирижки. Попытка же развенчать существующую историографию более проблематична и вызывает 2 основных возражения.

Во-первых, нельзя быть уверенным, что приведенный в монографии историографический обзор является абсолютно исчерпывающим. Действительно, историки в большинстве случаев довольно негативно оценивали старый режим, особенно в пореформенный период. Однако, помимо сторонников марксистской теории краха, не многие склонны приписывать революционный процесс только обнищанию. Уместно, как уже делали некоторые другие историки, не только поставить под сомнение тради-

ционный тезис о преобладающем влиянии «аграрного кризиса» на революционные события, но искать объяснение в целом ряде других факторов – от подъема самосознания среди национальных меньшинств до реформаторских и политических неудач старого режима. В самом деле, если иметь в виду хорошо известную индустриализацию поздней имперского периода, неудивительно, что валовой внутренний продукт существенно вырос. Историки, исходящие из теории развития, склонны считать, что этот рост экономики мог стать дестабилизирующим фактором даже в большей степени, чем стагнация, так как мог вызвать изменения в ожиданиях, образцах потребления, социальных отношениях и политической культуре, которые подрывали традиционные устои старого режима.

Может быть, действительно рискованно делать упор только на положительных сторонах развития поздней имперской России, если даже они столь значительны, как в случае с повышением уровня жизни. Ричард Пайпс, профессор русской истории в Гарвардском университете, привел яркий пример из своего опыта преподавания: однажды в ходе курса лекций по истории России XIX и начала XX вв., он попытался пересмотреть модель «пути к катастрофе»; но добравшись до 1900 года, он к своему ужасу обнаружил, что с точки зрения того, на чем он делал упор, революций 1905 и 1917 гг. не должно было произойти⁵⁸. Конечно, необходимо избегать телеологического заблуждения о неизбежности революции, нельзя ограничивать анализ только тем, что объясняет свержение монархии, и сбрасывать со счетов случайности, которые вытекают из вопроса «что было бы, если». Но не менее рискованно также игнорировать крах монархии и сводить историческое объяснение к борьбе элит и пиару оппозиции.

Умелый пиар «контрэлиты», либеральной и радикальной оппозиции, стремившейся сплотить страну против правительства, выдвигается автором как основное объяснение происхождения революций начала XX в., однако не кажется мне достаточно убедительным, несмотря на все цифры и таблицы. Во-первых, неясно, почему старый режим был не столь же ловким и способным проводить PR-кампании. Странники монархии определенно пытались сформировать общественное мнение, будь то посредством цензуры и репрессий или плохо продуманной и саморазрушительной «ресакрализации» при последнем императоре. Во-вторых, предположение, что продовольственный кризис не был столь острым, как, например, в Германии, и что за его обострение в период войны ответственны лишь чиновники-ренегаты и оппозиция, также не кажется мне достаточно убедительным. Ни в какой другой стране – ни до, ни во время Первой мировой войны – не было такого высокого уровня социального протеста среди рабочих, крестьян, национальных меньшинств и даже привилегированных слоев. Мне представляется, что объяснение революции не может быть сведено к умелой PR-кампании, которая вызвала появление «ложного сознания».

Наконец, как бы ни были убедительны цифры (в их анализе автор действительно непревзойденный мастер), их субъективное значение – нечто иное, чем их объективное содержание. Ведь *главное – восприятие, а не то, что было на самом деле*. Если люди считают, что режим плох (даже если это не так), если люди ощущают сильное неравенство (даже если это не так), они перестают принимать существующее положение вещей. В особенности существенно то, что авторитарный режим, претендующий на монополию власти (монополии на самом деле не было), принимает на себя полную ответственность за экономику и общественные отношения. Ирония старого режима, который в свои последние десятилетия претендовал на воскрешение самодержавия, заключается в том, что он не только действовал вопреки формировавшимся нормам современной Европы (и ее образованных сторонников внутри Российской империи), но возлагал всю ответственность даже за экономические циклы, которые он слабо контролировал, на самого себя – ведь более широкие полномочия означали более широкую ответственность. Если в хорошие времена это служило интересам режима, то во время спада и кризиса и в военные годы это имело прямо противоположный эффект.

Об исследовательских перспективах

В.П. Булдаков: В контексте культурно-исторической антропологии

Разумеется, я вовсе не считаю, что историческая антропометрия не имеет права на существование. Более того, уверен, что будучи поставлена в контекст культурно-исторической антропологии она смогла бы стимулировать историческую мысль. Так, если исходить из того, что человек куда более тесно связан с природной конъюнктурой своего появления на свет и детского развития (подобно тому, как качество винограда и вина зависит от климатических условий их вызревания), то при использовании определенных методик можно составить те или иные эколого-демографические «портреты поколений». Разумеется, при этом следует учитывать, прежде всего, не чисто физические данные, а – поскольку это возможно – «человеческие качества».

О.Н. Катионов: То, что невозможно сегодня, осуществимо в будущем

Поставив целью своей работы провести первое в истории России исследование по исторической антропометрии и оценить динамику благосостояния россиян в имперский период, Б.Н. Миронов экстраполирует современное понятие «индекс человеческого развития» только на часть хронологического отрезка своего исследования, ограниченного 1861–1913 гг., и делает вывод о невозможности наполнения этого понятия данными XVIII–XIX вв. Введение современных смысловых единиц в инструментарий исследователя всегда полезно, если оно дает возможность приблизиться к истине. А учет 3 показателей – долголетия, уровня образования и валового внутреннего продукта, возможный только для страны в целом, – не следует столь радикально отвергать. Возможно, одному историку с этим комплексом данных и не справиться, но коллективу исследователей, вооруженному сформулированным методологическим инструментарием и выявленными источниками, вероятно, удастся это сделать. Дело во времени. Долголетие можно вычислить по региональным церковным источникам и ревизским сказкам, материалам переписей. Исторические демографы, может быть, в этом помогут. Уровень образования исследуется. ВВП можно попытаться определить, выделив критерии, аналогичные современным. Ничто еще не потеряно. Будем оптимистами, хотя базы российских архивов не везде репрезентативны в силу их печальной участи – непригодные здания, пожары, потопы, списание дел, небрежное отношение к хранению, ограничение доступа и т.п.

То, что на современном уровне исследований невозможно, может быть достигнуто в будущем в результате поисков альтернативных показателей, обеспеченных соответствующими источниками.

П.П. Щербинин: Резервы «провинциальной» науки

Рассуждая о политическом развитии России, Б.Н. Миронов уверенно заявляет, что в начале XX в. в России «налицо были все элементы гражданского общества». Однако этот тезис представляется слишком поспешным и недостаточно аргументированным. Конечно, после Великих реформ XIX в. российское общество эволюционировало, европеизировалось, наполнялось гражданскими и общественными инициативами, но все же оно было достаточно специфическим, находящимся под жестким контролем авторитарного государства. К тому же надо учитывать, что российская бюрократия контролировала и стремилась максимально ограничивать общественную инициативу и самореализацию, а общественные организации находились под сильным нажимом и давлением государства (см. работы А.С. Тумановой, Дж. Бредли, Л. Хефнера, М. Хильдермайера). Замечу, что, анализируя деятельность дамских комитетов в XIX – начале XX в., а также других общественных организаций в столицах и провинции, я пришел к выводу,

что их деятельность разрешалась только в военные годы, а затем сворачивалась властями в приказном порядке, так как общественная инициатива даже вполне лояльных верноподданных вызывала опасения у государственных структур и полиции. Важно также учитывать, что проявления общественной самореализации и собственно деятельности общественных организаций в столицах и провинции кардинально отличались. Миронов указывает, что в Москве в 1912 г. действовало более 600 ассоциаций, а в Петербурге (правильнее в Петрограде) в 1917 г. – около 500 (с. 663). Однако он совершенно не приводит данных по провинции, где губернаторы вполне определенно заявляли, что они не допустят никакого свободомыслия и никаких общественных инициатив. К примеру, даже сбор пожертвований на нужды войны в 1914–1917 гг. не мог проходить без личного разрешения губернских властей, а любые вполне патриотические инициативы, не согласованные и не утвержденные, подлежали запрету. Думаю, что говорить о «возникновении в стране сильного гражданского общества», как это делает Миронов невозможно. Как невозможно подтвердить в нестоличных регионах функционирование свободной прессы, развитого общественного мнения, политических партий. Здесь налицо парадокс конфликта источников, конфликта методологий, которые используют историки из столиц и российской провинции. Представляется, что при характеристике гражданского общества в России необходимо более осторожно подходить к особенностям общественно-политических процессов, социокультурному развитию в различных регионах страны, а также к понятиям «гражданское общество», «общественная организация», которые различными авторами трактуются по-разному.

Возникает вопрос и об использовании вполне доступных в столичных библиотеках региональных исследований. Так, анализируя рекрутчину и ее воздействие на демографические, социальные и общественно-политические процессы в России, следовало бы привлекать новые труды и учитывать концепции авторов. К примеру, в последние годы были защищены кандидатские диссертации о рекрутской повинности Ф.Н. Иванова⁵⁹ и Л.Е. Вакуловой⁶⁰, в которых рассматривались рост рекрутов, процент военного брака и другие показатели для призыва в армию. Однако эти и десятки других работ региональных историков не были привлечены Б.Н. Мироновым. Можно предположить, что причинами этого является как слабый информационный обмен между провинциальной и «столичной» исторической наукой, в том числе и библиотечными фондами, так и недооценка возможностей и потенциала молодых исследователей из глубинки.

Я. Коцонис: В поисках нового консенсуса

Бедность традиционно рассматривалась как основной причинный фактор революций 1905 и 1917 гг. Миронов нарушает эту связь. Его самые последние работы подводят нас к новому консенсусу по этому вопросу: хотя мы не можем знать, насколько зажиточным было население, мы можем знать наверняка, что оно не было повсеместно нищим. Он показывает в мельчайших деталях, что аргументы в пользу пауперизации и соответственно политического кризиса, который привел к 1917 г., были сконструированы в условиях политических баталий, в ходе которых народники, марксисты, либералы, а временами и консерваторы использовали его как часть своего оппозиционного отношения к центральному правительству. Их мотивы могли варьировать от альтруистических (откровенная забота о благосостоянии народа) до более широких идеологических (надежды промышленников добиться развития внутреннего рынка) и экономических (желание части дворян-землевладельцев получить более высокие кредиты и более благоприятные тарифы). Все это вело к тому, что аграрный вопрос 1890-х гг. был основанием для формирования широкой оппозиции по отношению к центральной власти, и в этом контексте все сходились в том, что крестьяне прозябали в нищете. Начиная с 1920-х гг. пауперизация стала мантрой (священным словом) для нового поколения советских историков, которые в ряде случаев сами верили в тезис о пауперизации и во всех случаях были обязаны следовать ему в своих сочинениях. Лишь немногие выражали сомнения (А.Л. Шапино в 1958 г.), а другие могли только

намекать на них (А.М. Анфимов) из опасений за свою карьеру. Западные историки обладали большей свободой выбора, однако они приходили к тем же выводам, начиная с Д. Робинсона и включая, в частности, А. Гершенкрона.

Такая литература писалась не только по партийным приказам и ленинско-сталинским догмам. Мне представляется, что этот тезис был привлекателен благодаря своей простоте и нарративной прямолинейности: постоянный упадок, пренебрежение и даже вред со стороны государства, и в результате – революция, которая имела смысл из-за бедности населения. Либеральные историки, доминировавшие в этой области в США и Западной Европе, также склонялись к критике государственной политики, так как для них была характерна подозрительность по отношению к любой политической власти. Как специалисты по истории России они нередко были предрасположены к тому, чтобы делать упор на негативных последствиях функционирования недемократического и безразличного к социальным проблемам государства. События 1917 г. стали результатом, который объяснялся вызвавшей их бедностью.

На протяжении последних 30 лет этот тезис неоднократно ставился под сомнение, и заслуга Миронова заключается в том, что он собрал воедино этот корпус исследований и отважился на определенные выводы. Благодаря его работе мы с большей определенностью можем утверждать, что *образ повсеместной нищеты не подтверждается фактами*, так как в некоторых областях положение было благоприятнее и лучше, чем когда-либо. В Поволжье, например, действительно имел место недостаток продовольствия, что при определенных условиях могло вызвать кризис и голод, как и произошло в 1891–1892 гг. Однако наши глобальные представления следует отбросить и вместо них принять на вооружение региональный подход. На некоторые вопросы действительно нельзя найти ответ, так как данные, которыми мы располагаем, не дают возможности оценить крестьянские доходы. Мы знаем только о крестьянском землевладении, что в лучшем случае является лишь частичным показателем. Новое исследование Миронова многое добавляет к имеющейся картине. Свежие антропометрические данные хотя и имеют скорее глобальный характер, тем не менее действительно помогают пересмотреть образ повсеместной нищеты. Они показывают, что весовые и ростовые параметры человеческого тела, измеряемые для различных целей, демонстрируют улучшение качества питания. Надо сказать, что литература по антропометрии появилась в Европе по соображениям, никак не связанным с проблемами благосостояния как такового (наиболее важные имели отношение к криминологии, наиболее известные – к призыву на службу в Британской империи и опасениям физической деградации). Выяснение физического состояния новобранца – это не то же самое, что выяснение уровня благосостояния населения, и является более масштабным вопросом. Однако Миронов прав, утверждая, что изучение экономического и демографического развития шло в правильном направлении. Автор не без оснований предполагает, что русские начинали питаться больше и лучше, что они, вероятно, потребляли больше, чем в прошлом, и, возможно, вели более здоровый образ жизни.

Все эти сюжеты объективно исследованы, и следует обратиться к субъективным вопросам, которые также занимают историков. *Средний физический рост молодых людей мужского пола не скажет нам, были ли эти молодые люди склонны к революции.* При подходе к этой теме мы должны разбираться в вопросах восприятия и политики. Представленный Мироновым перечень ученых и публицистов, которые поддерживали тезис о повсеместной и постоянной нищете, впечатляющ, и он невольно привлекает наше внимание к политическим реалиям позднимперской России. Поправки, предложенные историками, использовавшими количественные методы, от Уиткрофта до Хоха и самого Миронова, необходимы и важны хотя бы для того, чтобы продемонстрировать, как восприятие может быть оторвано от действительности. Однако *политический контекст является реальностью сам по себе.* Даже в 1970-х гг., когда Джеймс Симмс привел свои первые аргументы для дискуссии (используя методы, которые вызвали вопросы, однако с похвальным воображением и чутьем), его оппоненты указали, что, каковы бы ни были цифры, ощущение бедности и неизбежные последствия из этого

ощущения для самодержавия являлись совершенно реальными. Это способствовало появлению более фундаментального доказательства о нелегитимном характере самодержавия, которое базировалось на нескольких основаниях: на утверждении, что правительство облагало население слишком высокими налогами, что отразилось в политике И.А. Вышнеградского и голоде 1891 г.; на предположении, что по современным стандартам российская власть в недостаточной степени проявляла заботу о своем населении, так как была слишком далека от народа; на положении, что российское государство по причине своей слабости лишь эпизодически могло вмешиваться в местные дела, что выглядело скорее как произвол, а не как последовательная политика.

Существуют расхождения между Мироновым и некоторыми его петербургскими коллегами, особенно В.С. Дякиным и коллективом авторов, опубликовавших в 1984 г. коллективную монографию «Кризис самодержавия в России». На мой взгляд, концепция системного кризиса, проводимая в книге, не восходит непосредственно к «ленинско-сталинской концепции российского империализма», как полагает Мионов. Парадигма и до сих пор имеет сторонников в США, даже в условиях, когда ее материальная сторона пересматривается. Политика и широкое понятие старого режима (а не ленинская датировка империализма) объясняют нижнюю хронологическую границу «Кризиса самодержавия в России» – 1895 год: смерть Александра III, последовавшую в конце предыдущего года. Интерпретация основывается скорее на оценке политического и идеологического измерений старого режима и в особенности неспособности самодержавия к интеграции – населения, экономики, территории. Следует признать, что в советский период петербургские историки подготовили несколько превосходных исследований, и в настоящее время их работа продолжается.

Экономические и социальные вопросы были в равной мере политическими. Позвольте мне привести один пример. До 1917 г. экономисты измеряли «народный доход», рассматривая благосостояние городов, но оценивали физическое выживание, когда дело доходило до крестьян, за неимением других инструментов измерения и из-за предположения, что крестьяне были озабочены только вопросами биологического выживания. Проведенный Мироновым детальный обзор данных о налогообложении крестьян (с. 324–328) демонстрирует всеобщее понижение налогов, что затем учитывалось при оценке дохода. Проблема здесь имеет две стороны. Мионов осторожно обращается с первой из них: оценочные сведения ненадежны, поскольку вообще не имеется надежных сведений о крестьянских доходах, так как не существовало учреждения, которое бы таковые собирало. Вот почему наши оценки экстраполируются из данных, с помощью которых оцениваются другие вещи. На гносеологическом уровне, доходы крестьян не исчислялись в наличных средствах: этого не могло быть из-за низкого уровня монетизации и высокого уровня потребления хозяйствами их собственной продукции. Вопрос был одновременно материальный и объективный, но также и в значительной степени политический, так как разные слои населения имели различные оценочные стандарты. Разные слои существовали как бы в разных измерениях. Некоторые из нас могли бы согласиться с тем, что современные интерпретации цифровых данных неверны. Это ставит историка перед новым вопросом, который может быть задан в будущем: как можно было игнорировать целый корпус свидетельств, которые говорят об успехах имперского периода? Новые свидетельства, в данном случае антропометрические, могут помочь в определении количественных данных, однако политический вопрос остается, так же как и политический тезис о нестабильности, столь эффективно разработанный нашими коллегами в России и Советском Союзе.

Мы, возможно, приближаемся к новому и более убедительному объяснению краха самодержавия, отчасти благодаря осознанию того рассогласования между объективно существующей реальностью и ее политическими интерпретациями, которое Мионов столь эффективно обрисовал. Он искусно демонстрирует, что не существует прямой причинной связи между бедностью и революцией, так как бедность не была ни российским, ни всеобщим явлением. Остается еще один вопрос, который возвращает нас к А. Токвиллю и его сочинениям об истоках Французской революции: если бедность пло-

дит голодных, улучшения вызывают более высокие ожидания. По крайней мере с XIX в. можно проследить возникновение нового насущного вопроса, сводящегося к тому, что современное правительство должно непосредственно и всесторонне заботиться о своем населении. Поведут ли нас эти новые взгляды дальше, нежели опровергнутый тезис о всеобщей бедности, в понимании взрывоопасной российской политики?

Материал подготовлен С.С. Секиринским

Примечания

¹ Лотман Ю.М. Культура и взрыв. М., 1992. С. 258.

² Энгельгардт А.Н. Из деревни. 12 писем. М., 1987. С. 474–475.

³ Беккер С. Миф о русском дворянстве. Дворянство и привилегии последнего периода императорской России. М., 2004. С. 56.

⁴ Грегорн П. Экономический рост Российской империи (конец XIX – начало XX в.) Новые подсчеты и оценки. М., 2003. С. 84.

⁵ Астырев Н.М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. М., 1886. С. 244.

⁶ Подробно эти сюжеты рассмотрены в монографии: Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX в. и железнодорожная статистика. СПб., 2010. С. 23–30, 68–73, 230–246.

⁷ Там же. С. 165–168.

⁸ Там же. С. 168–171.

⁹ Там же. С. 171–172.

¹⁰ Давыдов М.А. К проблеме потребления в России в конце XIX – начале XX в. // Инновационные подходы в исторических исследованиях: информационные технологии, модели и методы. Материалы XI конференции Ассоциации «История и компьютер». М.; Барнаул. 2008. С. 80–82.

¹¹ Вестник сельского хозяйства. 1910. № 51–52. С. 10.

¹² Там же.

¹³ Там же. С. 11.

¹⁴ Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: Православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX в. М., 2002. С. 96–97.

¹⁵ Население России в XX веке. Исторические очерки. Т. 1. 1900–1939 годы. М., 2000. С. 95.

¹⁶ Там же. С. 150.

¹⁷ Жиромская В.Б. После революционных бурь: Население России в первой половине 20-х годов. М., 1996. С. 7.

¹⁸ Население России в XX веке... С. 99–101; Дробизев В.З. У истоков советской демографии. М., 1987. С. 65–67; Лубны-Герцык Л.И. Движение населения на территории СССР: За время мировой войны и революции. М., 1926. С. 100, 103, 113.

¹⁹ Население России в XX веке... С. 102.

²⁰ Жиромская В.Б. Новые подходы к изучению истории российского населения в 1990-е годы // Проблемы истории массовых политических репрессий в СССР. Краснодар, 2006. С. 6; она же. Демографические проблемы в России в XX – начале XXI века // Очерки российской истории: Современный взгляд. М., 2008. С. 381. В эти данные автором внесены некоторые уточнения на базе разработки коллекции архивных материалов РГАЭ (оп. 329).

²¹ РГАЭ, ф. 1562, оп. 329, д. 17, л. 77–77 об., 137–137 об., 143–143 об., 140–140 об., 134–134 об. (подсчеты автора).

²² Там же, л. 75–75 об., 76–76 об., 135–135 об., 136–136 об., 141–141 об., 142–142 об., 138–138 об., 139–139 об. (подсчеты автора).

²³ Там же.

²⁴ См.: Жиромская В.Б. Демографическая история России в 1930-е годы: взгляд в неизвестное. М., 2001. С. 46, 218; Население России в XX веке ... С. 354.

²⁵ Давыдов М.А. Всероссийский рынок в конце XIX – начале XX в. ... С. 68–73, 230–246.

²⁶ Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.). Т. 1. СПб., 1999. С. 287, 291.

²⁷ Булдаков В.П. Россия или мифы о ней? По поводу статьи Бориса Миронова «Униженные и оскорбленные: “Кризис самодержавия – миф, придуманный большевиками”» // Родина. 2006. № 8. С. 7–9.

²⁸ Benecke W. Militaer und Gesellschaft im Russischen Reich. Die Geschichte der Allgemeinen Wehrpflicht 1874–1914. Habilitationsschrift. Goettingen, 2003.

²⁹ Wirtschafter E.K. From Serf to Russian Soldier. Princeton University Press, 1990; *ibid.* Social Misfits: Veterans and Soldiers' Families in Servile Russia // The Journal of Military History 59. April 1995. P. 215–236.

³⁰ Голосенко И.А., Голод С.И. Социологические исследования проституции в России (история и современное состояние вопроса). СПб., 1998. С. 15.

³¹ Wirtschafter E.K. From Serf to Russian Soldier. P. 24.

³² Военно-статистический сборник. Вып. IV. Отдел II. СПб.; 1871. С. 33.

³³ РГИА, ф. 1281, оп. 5, д. 13, л. 34.

³⁴ Там же, оп. 4, д. 806, л. 22.

³⁵ Там же, оп. 3, д. 149, л. 45–46.

³⁶ Анфимов А.М. Российская деревня в годы Первой мировой войны: 1914 – февраль 1917 г. М., 1962. С. 75–76.

³⁷ Горюшкин Л.М. Сибирское крестьянство на рубеже двух веков: Конец XIX – начало XX в. Новосибирск. 1967. С. 98–104.

³⁸ Военно-конская перепись 1912 г. СПб., 1914. С. 16, 22, 148–149, 182–183.

³⁹ Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50-ти губерниям Европейской России. СПб., 1907. С. 16–17, 78, 182, 197.

⁴⁰ Россия 1913 год. Статистико-документальный справочник. СПб., 1995. С. 221.

⁴¹ Опыт приблизительного исчисления народного дохода по различным его источникам и по размерам в России. СПб., 1906. С. XXXVIII – XXXIX; Подоходный налог. Ожидаемое число плательщиков, их доход и сумма налога по исследованию, произведенному податными инспекторами и казенными палатами в 1909–1910 гг. СПб., 1910. С. II.

⁴² Опыт приблизительного исчисления... С. VIII, XIV, XV и др.

⁴³ Каценеленбаум З.С. Война и финансово-экономическое положение России. М., 1917. С. 11; Прокопович С.Н. Война и народное хозяйство. М., 1917. С. 34.

⁴⁴ Подробнее об этом см.: Куликов С.В. Бюрократическая элита Российской империи накануне падения старого порядка (1914–1917). Рязань, 2004; *он же*. Император Николай II и Государственная дума: неизвестные планы и упущенные возможности // Таврические чтения – 2007. Актуальные проблемы истории парламентаризма в России в начале XX в. СПб., 2008; *он же*. Император Николай II как реформатор: к постановке проблемы // Российская история. 2009. № 4; *он же*. Николай II и парламентаризм (1906–1917 гг.) // Таврические чтения – 2008. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб., 2009.

⁴⁵ Малапарте К. Техника государственного переворота. М., 1998. С. 145–146.

⁴⁶ См. об этом: Куликов С.В. К предыстории Гражданской войны в России. Всеобщие военные власти Петрограда 23–28 февраля 1917 г. // Гражданские войны в истории человечества: общее и частное. Доклады всероссийской научной конференции (15–16 ноября 2003 г.). Екатеринбург, 2004; *он же*. Февральская «революция сверху» или фиаско «генералов для пронунсиаменто» // Россия XXI. 2004. № 4; *он же*. Совет министров и Прогрессивный блок во время падения монархии // Нестор. 2005. № 7; *он же*. Петроградское офицерство 23–28 февраля 1917 г. Настроения и поведение // Новый часовой. 2006. № 17–18; *он же*. «Революции неизменно идут сверху...»: падение царизма сквозь призму элитистской парадигмы // Нестор. 2007. № 11; и др.

⁴⁷ Сафонов М.М. Ложь и правда об отречении Николая II // Нестор. Между двух революций 1905 – 1917. Источники, исследования, историография. 2005. № 3; *он же*. Роль Государственной думы в подготовке отречения Николая II // Таврические чтения – 2007...

⁴⁸ Речь военного и морского министра, председателя ЦВПК А.И. Гучкова // Отчет о торжественном заседании ЦВПК 8 марта 1917 г. в Александровском зале Петроградской городской думы. Пг., 1917. С. 17–18.

⁴⁹ Блок А.А. Собр. соч. В 8 т. Т. 7. Автобиография. 1915. Дневники. 1901–1921. М.; Л., 1963. С. 255.

⁵⁰ Речь военного и морского министра, председателя ЦВПК А.И. Гучкова... С. 18.

⁵¹ См.: Именной Высочайший указ Сенату 18 февраля 1905 г. // ПСЗ-III. Т. XXV. Отд. I. СПб., 1908. № 25853.

⁵² Булдаков В.П. Красная смута. Природа и последствия революционного насилия. М., 1997. С. 343–345. Подробнее см.: *он же*. Quo vadis. Кризисы в России: пути переосмысления. М., 2007. С. 80–105.

⁵³ Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры российской революции 1917 года. СПб., 2001.

⁵⁴ См.: Миронов Б.Н. От парадигмы к мифу: Ответ Б.В. Ананьичу // Экономическая история. Ежегодник 2006.

⁵⁵ Стариков Н.В. Не революция, а спецоперация! М., 2007.

⁵⁶ Сенявский А.С. Великая русская революция 1917 года в контексте истории XX века // Проблемы отечественной истории. Источники, историография, исследования. СПб., 2008.

⁵⁷ Jones A. Late-Imperial Russia. An Interpretation: Three Visions, Two Cultures, One Peasantry. Bern, 1997.

⁵⁸ Karamzin's Memoir on Ancien and Modern Russia / R. Pipes (ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press, 1959. P. IX, note 2.

⁵⁹ Иванов Ф.Н. Рекрутская повинность населения России в 1831–1874 годах: на материалах Европейского Севера. Автореф. дис.... канд. ист. наук. Сыктывкар, 2006.

⁶⁰ Вакулова Л.Е. Рекрутские наборы в Тамбовской губернии в XIX в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Саратов, 2007.